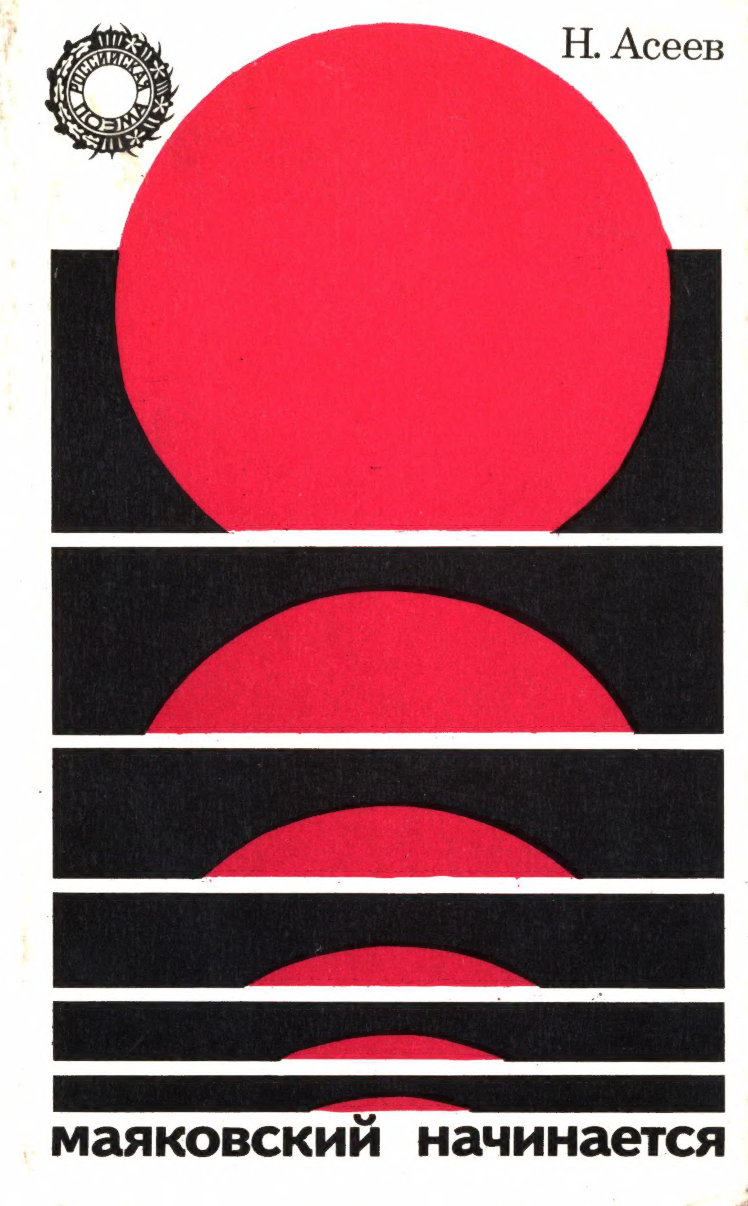


РОССИЙСКАЯ ПОЭМА
Н. Асеев
маяковский начинается

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

МАЯКОВСКИЙ НАЧИНАЕТСЯ



НИКОЛАЙ АСЕЕВ

МАЯКОВСКИЙ НАЧИНАЕТСЯ

Поэма

«СОВРЕМЕННИК» МОСКВА • 1973

Р2
А90

Асеев Николай Николаевич

А90 Маяковский начинается. Поэма. М., «Современник», 1973. **160 с. 1 л. портр.**

Большой русский поэт Н. Н. Асеев был близким другом и единомышленником В. В. Маяковского. Трудно переоценить влияние последнего на творчество Асеева. «Маяковский начинается» — посмертная дань глубочайшего уважения и преклонения перед личностью «поэта Революции». В основу повести положены биографические, документальные факты жизни и деятельности Маяковского. В 1940 году повесть была удостоена Государственной премии СССР.

А $\frac{0742-062}{106(03)-73}$ 91—73 **Р2**

Маяковский издали

Вам ли понять,
почему я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет.
С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт.

Маяковский,
«Владимир Маяковский» (трагедия)

К чему начинать
историю снова?
Не пачкай бумаги
и время не трать!
Но где же оно —
первородное слово,
которое сладко
сто раз повторять?
Теперь —
эти всеми забытые встречи,
рассвет наших взглядов
и рань голосов,
едва повернувшись,
далеко-далече
откинуло времени колесо.
Тогда еще
чудо слыло монопланом,
бульварами
конка тащилась, звеня,
и головы,
масленные конопляным,

в кружок —
окружали
повсюду меня.

Москва грохотала
тоскою булыжной,
на дутых
катили тузы по Тверской —
торговой смекалкой,
да прищурью книжной,
да рыжей премудростью
шулерской.
Зеркальными гранями
вывеска к вывеске,
подъезды,
засунутые на засов,
и нищих,
роящихся раной у Иверской, —
обрубки, и струпья,
и дыры носов.
А там,
где снега от заката зардели,
где цепью гремели
мордастые псы, —
в лоскутное небо
вперяли бордели
закрытые ставни —
как бельма слепцы.

Солидные плеши,
тугие утробы,
алмазные цепи,
блистанье крестов;
в сиянии люстры,

в мерцанье сугробы:
земной и небесный
сверкает престол.
Империя!
Ты отдавила нам плечи.
Мы скинули тяжесть
тупого ребра:
свинцовые склепы,
пудовые свечи,
лабазы
и склады
лихого добра.

Таков был пейзаж,
что совался
постыло
повсюду нам в уши,
в глаза
и в сердца.
Казалось,
что семя
ничто не растило,
что время
застыло в сугробах мерцать.

В ряды их калашные
к рылам суконным
не лез я;
к их истинам прописным
не жался;
их толстым слежалым законам
не верил...
Тогда-то
я встретился с ним.

Он шел по бульвару,
худой
и плечистый,
возникший откуда-то сразу,
извне,
высокий, как знамя,
взметенное
в чистой
июньской
несношенной
голубизне.
Похожий на рослого
мастерового,
зашедшего в праздник
в богатый квартал,
едва захмелевшего,
чуть озорного,
которому мир
до плеча не хватал.
Черты были крупны,
глаза были ярки,
и темень волос
припадала к лицу,
а руки —
тяжелые, —
будто подарки
ладонями кверху
несли на весу.
Какой-то
гордящийся новой породой,
отмеченный
раньше не бывшей красой,
весь широкоглазый
и широкоротый,
как горы,
умытые насвеж росой...

Я глянул:
откуда такие берутся?
Крутой и упругий
с затылка до пят!..
Быть может,
с Казбека
или с Эльбруса —
так
тело распластывает водопад?
Тревожный,
насмешливый
и любопытный,
весь нерастворимый
на глаз и на слух,
он враз отличался —
какой-то обидной
чертой превосходства
над всем,
что вокруг.

Казалось,
что каждая шутка
и шалость
всерьез задевала
по сердцу —
одним;
другие —
с ним спорили
и не соглашались
и все-таки
вслед семенили за ним.
Он взвил позвоночником
флейту на споры,
он полон был
самых нежданных затей,

он явно из сказки
из той был,
что в горы
уводит —
несчастных сограждан —
детей.
Сограждане ж
были на совесть
добротны;
закат был —
что иконостас —
золотист.
И как им понять было,
что в оборотней
детей превращать
начинает флейтист?!

Был девятьсотпятый —
засвистан,
затоптан,
затерт
и засален по лавкам менял;
и в розницу предан,
и продан был оптом,
и заслан —
куда и Макар не гонял.
То пастырь Кронштадтский,
то Саровский инок
взмывали
в лученье крестов
и вериг...
Индусских учений
обложки — в витринах,
и тусклые блестки
огарочьих лиг.

Глаза были
плотно залеплены клейстером
наследственных прав
и жандармских облав.
Картины
елеем
выписывал Нестеров
из мироточивых
сочившихся глав.
Вы помните это:
«Медведь и отшельник»,
пчелиных роев
примиренческий гул...
И было неясно:
медведь ли мошенник,
мохнатого ль старец
на меде надул?

А рядом —
менады, наяды, дриады!
«Царь Федор Иваныч»,
шаляпинский туш,
концерты, концерны,
поставки, подряды...
Взъярилась
российская дикая глушь!
Их мануфактурных
да бакалейных
торговых домов
поднимались ряды.
И тщетно,
казалось,
прошли в поколеньях
«Былое и думы» —
следы и труды...

Теперь
Остроумовых
да Востряковых
английским пробором
открылась тропа.
А те,
что Владимирским трактом
в оковах
пылили, —
в потемки ушли,
запропав.
Бороться
с торгашьей лощеною шайкой?
Сражаться
с их Китайгородской стеной?!
И красное знамя
белесою чайкой
на сереньком занавесе
заменено.

Тогда —
вперерез,
ни минуты не мешкав,
в ответ их блудливым
пожатиям плеч,
в ответ ликвидаторским
кислым усмешкам
рванулась
сухая,
горячая речь.
Но речь эта —
в пальцах подпольных,
как порох,
чернела
на тонких рабочих листках,

взрываясь
в партийных
разросшихся спорах,
не всем
и доступна была
и близка.

Всей будничной
обыденщиной быта
от праздных,
пустых,
наблюдающих глаз
подполье партийное
было укрыто,
как шубой,
широким сочувствием масс.
И если в тиши,
опасаясь провала,
синеющие
по-весеннему дни
машинка гектографа
копировала,
не всякому
в руки давались они.

Угрюмый зрачок
чрезвычайной охраны,
морозящий оползень
шарящих рук...
И Блок
Незнакомку уводит во храмы
Нечаянной Радости
вызвенеть звук.
И вровень
душеспасительным догмам,

гастролям Кубелика,
дыму кадил
скулил в Камергерском
расстроенный Штокман,
и Сольнес-строитель
на башню всходил.

Да что там Кубелик
и что там их Ибсен?
Широкой натуре
войти только в раж:
Гогена с Матиссом —
Морозовым выписан
вагон! —
чтоб москвич
открывал вернисаж.
Пусть краски их пышут,
не глядя на зиму,
пусть всюду звенит
наш малиновый звон,
сюда,
к семихолмому
Третьему Риму,
приидут языци —
мошне на поклон!

Символики приторной
липкая патока,
о небе в алмазах
бессильная грусть.
А рядом —
озимых
заплатка к заплатке —
двужильная
да двухпольная Русь.

А рядом —
огромен,
угрюм,
неуютен
край гиблых снегов
да подсошных земель.
И вот он —
оттуда
приходит Распутин
и валит империю
на постель!

Знакомство с Москвой

В детстве, может,
на самом дне,
Десять найду
сносных дней.

Маяковский, «Про это»

Но это —
не думай —
еще не паденье;
силен еще
взмет усмирительных грив;
московских окраин
глухое гуденье,
но это —
еще накипанье, —
не взрыв.
Парами наполненная
наполовину,
чуть приподымавшая
крышку котла,
кипела
московская котловина,

Россию прожегшая
в Пятом
дотла.
Начальство
не гладило по головке,
но небо синело,
и солнце пекло;
весной
по лесам
зацветали маевки,
гармонь голосила,
звенело стекло.

Тогда-то
сюда перебралось семейство
из-под Кутаиса —
брат, сестры и мать.
Конечно, побольше достаток
имейся —
не стали б
на Пресне
подвал нанимать.
Там —
в Грузии светлой —
как барсова шкура,
пятнистые горы
желтеют вдали;
здесь —
только Трехгорная мануфактура
с трудом
поднимается от земли.
Здесь
все по-иному —
слова и объемы
разверстанных чувств,

привилегий,
постов;
здесь горы —
названием Воробьевы —
топорщат горбы
невысоких пластов.

Народ сохраняет
оценки и клички
в названиях,
данных хотя б не всерьез;
народа приметы,
народа привычки —
как оспины
низко пронесшихся гроз.
Так —
все здесь из сердца
высокое
выкинь,
здесь плоскости
и низкопоклонству
почет;
Ханжонков здесь властвует
и Неуссихин;
Неглинка-речонка
под почвой течет.
Здесь —
низкое солнце
из хмари рассветной
тускнеет в волокнах
седых паутин;
здесь —
не указует
перстом своим Тетнульд
бездонную глубь
человечьих путин.

Здесь —
звезды
отсчитаны на копейки,
и за воду
платит по ведрам район;
а там
если волны —
без всякой опеки,
а звезды —
так падают прямо в Рион!
И голову здесь —
задерет ли затея,
такие унылые видя места, —
как к Хвамли,
прикованному Прометею
до самого солнца
рукою достать?

Впервой
над Ламаншем
взвивается Блерио...
Мы — пялимся,
хмуро скрививши губу,
и сукна и мысли
аршинами меряя, —
в полет вылетать? —
не желаем — в трубу.
Напрасно
подняться старается
Уточкин...
«Пущай отличается в этом Париж!»
«Купец не пойдет
на подобные шуточки:
пускать капиталы на воздух...»
«Шалишь!»

А впрочем —
что толку
в летательном зуде?
Так век просидишь
в затрапезном углу.
Отец схоронен.
Выходить надо в люди.
Заплатами
мать начищает иглу.
На сердце —
копытом ступает забота.
Померкни!
И плечи ссутуль и согни...
Но он вспоминает
забытое что-то,
какие-то выстрелы,
крики,
огни...
Миндаль в Кутаисе
торжественно розов...
Едва наступает
цветенья число —
дуреют с восторга
гудки паровозов,
и кажется —
небо на землю сошло
Под небом таким
не согнешься дугою;
здесь —
грудь разверни
и до донца дыши.
В такое —
растешь
и повадкой тугою,
и взором,
и каждым движеньем души.

Так рос он,
задира и затевала,
с башкою — на звезды,
с грозой — на дому,
и первые знанья
преподавала
сестра Джапаридзе Алеши —
ему.

Так славься ж,
глухое селенье Багдади!
Тяжелые грозди,
орешник и граб,
принесшие горсти
такой благодати,
такой открывавшие
глазу масштаб.
Так славьтесь же,
люди веселой долины,
дышавшие
мужеством и прямотой!
И вы,
неподкупные гор исполины,
лицо обдававшие
свежей водой.

Но слава еще далека...
И, сощуря
глазенки,
он солнце вбирает за нас.
Он влазит
в огромные жерла чуури
опробовать
голоса резонанс.
И гулко трубят
глинобитные недра,

и слушают уши
предгорных пород
о том,
как «...суров был король дон Педро!»
и как «...трепетал его народ!»

Ответрилось детство
в садах Имеретии...
Под сердцем
навеки, гроза, затаись!
И девятьсот пятого залпами
встретили
подростка —
гимназия
и Кутаис.
Он дружбу ведет
с громовыми ударами.
Он чем-то заполнен
и затаен.
Он помнит,
как Гурия
билась с жандармами,
как против царя
бунтовал батальон.
Он ветром восстаний
спеленат и выпоен.
Он слышал
свободы
горячую речь.
Он ищет
на Пресне
отметин и выбоин,
какие
в горах
просверлила картечь.

Его университеты

Юношеству занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.

Маяковский, «Люблю»

Не мед с молоком —
положение вдовье.
Поймешь и научишься,
что и к чему.
«Отец нам в наследство
оставил здоровье
и образованье», —
решили в дому.
Но образованье
тоже хромало:
был вышиблен
из гимназии сын,
когда громоглавье
девятого вала
отгрянуло
в эхе кавказских вершин.

В обед не останется
лишняя корка...
Росли без особых надзоров
и нянь.
Сестру приняла на работу
Трехгорка —
узор рисовать
на дешевую ткань.

Недаром
на Пресне
искали квартирку —
здесь день
начинался не позже семи;
направо — Трехгорка,
налево — Бутырки:
удобно
для небогатой семьи!

Вторая сестра
принята на почтамте...
Он рос,
от труда
и нужды
недалек.
О горах мечтал он,
но горным мечтам тем
пределом
был низенький потолок.

В семействе,
чтоб сахар
на лишнюю кружку
хватал
да не пялилось дно у корзин,
сдавали задешево
комнатушку
шумливым кочевьям
студентов-грузин.
То были
упрямые революционеры,
едва ль
теоретики
и вожаки:

враспашку рубашки,
вразмашку манеры,
небритые скулы
запавшей щеки.
Они были раньше
по семьям знакомы
и близки
по блеску сияющих глаз,
и с ними
вплотную водился —
о ком мы
ведем
свой невыдуманный рассказ.

Он строки запомнил:
что — **«годы и годы
нужны, чтобы снова
страну раскачать»**.
Что ж делать?
Семье ли умножить доходы?
В партийную ль
закопаться печать?
Он чувствовал
нетерпеливую силу,
которая надвое
душу рвала,
которая тайной
остаться просила
и на люди
выброситься звала.
Он начал стихами:
«Закат над заводом
пылает!»
Но обыск семейство постиг,
и пристав блистательный

был этим одам
редактором первым
в Сущевской части.

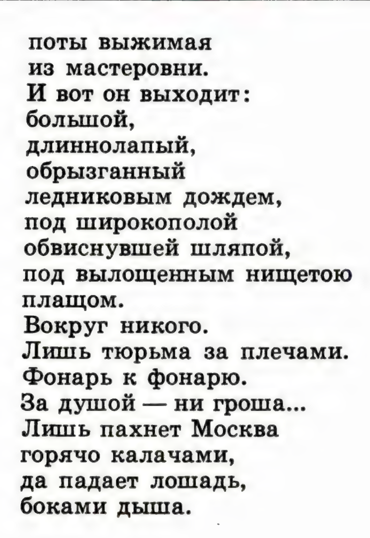
Как бусы —
один к одному денечки
земной
ожерельем увешали
шар,
а ты — посиди,
охладись в одиночке,
смири свою молодость,
радостность, жар.
Тюремная музыка
ржавого лязга,
карболовый запах
запятнанных стен, —
такой была
первая робкая ласка,
идиллия юных
лирических сцен.
Он много там думал.
И мир раскрывался
ему —
не жемчужною шуткой Ватто,
не музыкой штраусовского вальса,
а тенью решетки перевитой.
Он много читал там.
И старые басни
не шли
к его наново взятой
судьбе,
и жизнь толковалась
сложней и опасней,
и дни надвигались
тесней и грубей.

Стихи и брошюры,
Некрасов и Бебель,
тюремных проверок
вседневная явь;
не хочешь попасть
в эту нежить
и небыль —
возьми себя в руки,
мозги себе вправь.
Ему присылали открытки:
Билибин —
узорные блюда,
каличий костыль;
он их перечитывал,
безулыбен,
вдвойне ненавидя
их паточный стиль;
они
здесь
вдвойне ему были похабны,
искусства,
допущенного в тюрьме,
собольи опушки,
секиры,
охабни —
весь ложноклассический ассортимент.

А люди вокруг
торговали, служили,
и каждый из них
что-то смел и умел;
им бабушки знатные
ворожили,
им слава сияла
и город шумел.

И вот он выходит.
Но что это за люди?
Хоть глуп, да богат,
хоть подлец, да делец.
С такими
скорее, чем брюки, засалите
всю юность
об жир их обвисших телес.
Такие —
с пеленок,
от самой купели
и вплоть до отхода
в последний ко сну —
считали, тупели,
копили, скупели,
превыше всего
почитая казну.
С такими
молчать,
обвыкать,
хороводиться?
Сносить их полтинничный
град оплеух?
Так пусть уж живот
подведет безработица,
чем блеск их зубов,
их искусств,
их наук!

Москва колотила
в булыжник копытами,
клубилась в дымках
подгородних равнин,
шумела,
гремела грошами добытыми,



поты выжимая
из мастеровни.
И вот он выходит:
большой,
длиннолапый,
обрызганный
ледниковым дождем,
под широкополой
обвиснувшей шляпой,
под вылощенным нищетою
плащом.
Вокруг никого.
Лишь тюрьма за плечами.
Фонарь к фонарю.
За душой — ни гроша...
Лишь пахнет Москва
горячо калачами,
да падает лошадь,
боками дыша.

Проба голоса

Окном слуховым внимательно слушая,
ловили крыши — что брошу в уши я.
А после
о ночи
и друг о друге
трещали,
язык ворочая — флюгер.

Маяковский, «Люблю»

Едва углядев
это юное пугало,
учуяв, как свеж он
и как моложав,

Москва
зашипела, завыла, заухала,
листовым железом
тревогу заржав.
Она поняла —
с орлами на вышках, —
что этот
не из ее удальцов;
что дай ему только
бульварами вышагать,
и — жаром займется
Садовых кольцо.
Она разглядела,
какие химеры
роятся
в рискованном этом мозгу...
И ну принимать
чрезвычайные меры:
круженье и грохот,
азарт и разгул.
Она угадала,
что блеском вожацким
лишь дай замахнуться
перу-топору —
поедут по площади
Минин с Пожарским,
и вкось закачается
Спас на Бору.
Лишь дай
его громкосердечной замашке
дойти
до лампадного быта — жирка,
все Швивые горки
и Сивцевы вражки
пойдут вверх тормашки
в века кувыркать!

Тут —
первогильдейский
в ореховой раме
мильон подбирает
не дурой-губой,
а этот —
сговаривается с флюгерами
и дружбу ведет
с водосточной трубой.
Тут —
чуйки подрезывать
фрачным фасоном,
к Европе равняться
на сотни ладов,
а этот —
прислушивается к перезвонам
идущих до сердца страны
проводов.
Она поняла,
что такого не вымести,
не вжать, не утиснуть
в обычный объем;
что этакой ярости
и непримиримости
не взять, не купить
ни дубьем, ни рублем;
что как ни стругай его, —
гладок и вылощен,
не сядет он с краю
за жирный пирог...
И вот его
в Строгановское училище
засунула:
в сумрак,
в холсты,
за порог.

Авось! —
полагала премудрая старица, —
как там ни задирист он,
как ни высок, —
в художествах наших
он сам переварится
и красками выпустит
выдумок сок.
Бросай под шаги ему
камни и бревна,
глуши его
в звон сорока сороков,
чтоб елось не сытно,
чтоб шлялось неровно,
чтоб спалось не сладко и не глубоко.

Но нет,
не согнуть его
выдумке немощной
и будущностью
не сманить на заказ,
и если наряд
выполашивать не на что,
он рвет на рубаху
московский закат.
И желтая кофта
пылает над ночью,
топочущей тупо
толпы сюртуков;
и всюду мелькают
веселые клочья,
и голос глушит
перезвон пятаков.

(Но стоп!
Вы вперед забежали в азарте;

перо обсушите
и спрячьте в ножны;
вы повесть
на мелочь не разбазарьте,
хотя и детали
здесь — кровно важны).

Светлее,
чем профессора
и начальники,
плетущие
серенькой выучки сеть,
ему
улыбаются маки
на чайнике,
и свежестью светится
с вывески сельдь...
Он все это яркое
взвихрил бы разом;
он уличной жизнью
и гулом влеком...
И тут он знакомится
с одноглазым,
квадратным
и яростным Бурлюком.

То смесь была
странного вкуса и сорта
из магмы
еще не остывших светил;
рожденный по виду
для бокса,
для спорта,
он
тонким искусствам
себя посвятил.

Искусственный глаз
прикрывался лорнеткой;
в сарказме изогнутый рот
напевал,
казалось, учтивое что-то;
но едкой
насмешкой
умел убивать наповал.

Они повстречались в училище...
Сказку
об них бы писать,
а не повесть плести...
И младший
заметил,
что чрез одноглазку
тот многое мог
примечать на пути...
Пошли разговоры,
иллюзии, планы,
в чем крепость искусства,
порыв и успех...
Годов забродивших кипением пьяны,
они походить не желали
на всех.

Тогда
новолуньем всходил Северянин,
опаловой дымкой
болото прикрыв...
Нет!
Не мастахином
в зубах ковырянье —
искусство, —
они порешили, —
а — взрыв!

И въявь убедившись,
что их не пригнуло,
что ими украшен
не будет мильон,
училище
их из себя изрыгнуло:
Кит Китыч
не вынес двух сразу Ион.

Однажды, —
из памяти выпала дата;
немало ночами
бродилось двоим, —
они направлялись
к знакомым куда-то,
к сочувственникам
и прозелитам своим.
«...А знаете, Додя!
Припомнилось кстати...
Один мой,
не любящий книг и чернил, —
во время отсидок в Бутырках, —
приятель
неглупый,
послушайте, как сочинил:
...Багровый и белый...
(Как голос раскатист!)
...Отброшен и скомкан...
(Как тепел и чист!)
...А черным...
(Скорее к нему приласкайтесь!)
...Ладоням...
(Скорей это время случись!)»
Какою огромною мощью
наполненный,

волна его
рябь переулков дробит!..
В нем —
горечь
недавних разгромов Японией
и грохот
гражданских неконченных битв.
Какой-то прохожий
на повороте
шарахнулся в сумрак,
подумавши: бред!
Бурлюк обернулся:
«Во-первых, вы врете!
Вы автор!
И вы — гениальный поэт!»
При входе —
к знакомым,
прямея в надменности,
взревел,
словно бронзу
впечатавши в воск:
«Мой друг,
величайший поэт современности,
Владимир Владимирович
Маяковский».
Себя на века
утвердив в эрудитах,
лорнетку, как вызов,
вкруг пальца завил.
«Теперь вы, Володичка,
не подведите —
старайтесь!
Ведь я вас уже объявил!»

С того началось...
Политехникум,
диспут,
подвески вспотевшие
люстровых призм...
Москва не смогла
залежать их и выспать —
везде на афишах в сажень:
ФУТУРИЗМ.
И вот обнаженные,
как на отрогах
осыпавшихся, —
на картинах без рам —
бегущие сгустки
людей многоногих,
открытая внутренность
будущих драм,
смещенные плоскости,
взрытые чувства,
домов покачнувшихся
свежий излом,
вся яростность спектра,
вся яркость искусства,
которому
в жизни не повезло.
Газеты орали:
«Их кисти — стамески!»
У критиков спазмы:
«Табун без удил!»
К ним вскоре
присоединился Каменский,
Крученых
в истерику зал приводил.

Что объединяло их?
Ненависть к сытым,

к напыщенной позе
душонок пустых,
к устою,
к укладу,
к отсеянным ситом
привычкам,
приличиям,
правилам их.
Он был среди них,
очумелых от молний,
шарахнувших в Пятом
с потемкинских рей;
он чем-то серьезным
их споры наполнил,
укрывшись
под желтою кофтой своей.
В них все —
и неслыханность пестрой одежи,
несдержанность жестов,
несогнутость плеч, —
за ними —
толпою поток молодежи,
а против них —
«Русское слово»
и «Речь».

Но все ж
футуризм
не пристал к нему
плотно;
ему предстояла
дорога — не та;
их пестрые выкрики, песни, полотна
кружила истерика
и пустота;

искусство,
разобранное на пружинки;
железо империи
евшая ржа;
в вольерах искусства
прыжки и ужимки
«взбешенного мелкого буржуа».

Но все это
сделалось ясно-понятно
гораздо поздней
и гораздо грозней.
Тогда же
мелькали неясные пятна
во всей
этой пестрой,
веселой возне.
Москва разгадала,
Москва понимала,
что нет на таких
ни кольца,
ни гвоздя,
но люди
не чувствовали нимало,
какая меж них
замелькала
звезда.
И вот,
пошушукавшись по моленным,
пошире открывши
ворота застав, —
она его вышвырнула
коленом,
афишами
по стране распластав.



Отцы и дети

Теперь
начать о Крученых главу бы,
да страшно:
завоет журнальная знать...
Глядишь —
и читатель пойдет на убыль,
а жаль:
о Крученых надо бы знать!
Кто помнит теперь
о царевой России?
О сером уезде,
о хамстве господ?
А эти —
по ней
вчетвером колесили
и видели
самый горелый испод.
И въелось в Крученыха
злобное лихо
непомнящих роду
пьянчуг,
замарах...
Прочтите
лубочную «Дуньку Рубиху»
и «Случай с контрагентом
в номерах».
Вы скажете —
это не литература!
Без суперобложек
и суперидей.
Вглядитесь —
там прошлая века натура
ползучих,

приплюснутых,
плоских людей.
Там страшная
простонародная сказка
в угарном удушье
бревенчатых стен;
полынная жалоба
ветра-подпаска
с кудрями,
зажатыми промеж колен.
Там все:
и осторожная сентиментальность,
и едкая,
серая соль языка,
который привешен,
не праздно болтаясь,
а время свидетельствовать
на века.
Наклеят:
«Он мелкобуржуазной стихии
лазейку тайком
прорывает в марксизм...»
Плохие чтецы вы,
и люди плохие,
как стиль ваш ни пышен
и вид — ни форсист!
Вы тайно
под спудом
смакуете Джойса:
и гнил, дескать, в меру,
и остр ананас...
А то,
что в Крученых
жар-птицею жжется,
совсем не про это,
совсем не про нас.

Нет, врете!
Рубиха вас разоблачает,
со всем вашим скарбом
прогорклым в душе.
Трактир ваш дешевый
с подачею чая,
с приросшею к скважине
мочкой ушей.
Ловчите,
примеривайте,
считайте!
Ничем вас не сделать
смелей и новей —
весь круг мирозданья
сводящих к цитате —
подросших
лабазниковых сыновей.
Вы, впившиеся
в наши годы клещами,
бессмысленно вызубрившие азы,
защитного цвета
литые мещане,
сидевшие в норах
во время грозы.
Я твердо уверен:
триумф ваш недолог;
закончился круг
ваших тусклых затей;
вы — бредом припомнитесь,
точно педолог,
расти не пускавший
советских детей.

К примеру:
скажите, любезный Немилов,

вы — прочно привержены
к классике форм
и, стоя
у «Красной нови» у кормила,
решили,
что корень кормила — от «корм»?
Вы бодро тянули
к чернилам ручонку,
когда,
Либединского
выся до гор,
ворча,
Маяковскому ели печенку;
ваш пафос —
не уменьшился с тех пор?
А впрочем,
что толку —
спросить его прямо?!
Он примется
с шумом цитаты листать.
Его наделила с рождения мама
румянцем таким,
что краснее не стать!

Так вот,
у таких и отцы были слизни;
их души тревожил
лишь шелест кушей.
А Вася Каменский —
возьми да и свистни
в заросшие волосом
дебри ушей.
Ух, и поднялось же!
«Разбой! Нигилисты!
Они против наших музеев и книг!»

Один — даже —
модный профессор речистый
«явленье антихриста»
выявил в них.
А свист был — веселый.
заливистый,
резкий!
Как нос ни ворочай,
куда ни беги,
он рвался — за ставни,
за занавески,
дразня их:
«Комолые утюги!»
Тот свист был —
всему
прожитому до реди,
всему
пережеванному на зубах,
всему,
что свалялось в родные,
в соседи,
что пылью крутилось
в дорожных клубах.

Как вам рассказать
о тогдашней России?..
Отец мой
был агентом страховым.
Уездом
пузатые сивки трусили.
И дом
упирался в поля —
слуховым.
И в самое детство
забытое, раннее —

я помню —
везде окружали меня
жестянки овальные:
«Страхование —
Российского общества —
от огня».
Слова у отца непонятны:
как **полисы,**
как **дебет и кредит,**
баланс и казна...
И я от них бегал
и прятался по лесу,
и в козны
с мальчишками дул допоздна.
А ночью
набат ударял...
И на голых
плечах,
что сбегались,
спросонья дрожа,
пустивши приплясывать
огненный сполох,
в полнеба плечом
упирался пожар.

Я видел,
как бревна обняв и облапив
и щеки мещанок зацеловав,
прервав стопудовье
зловещего храпа,
коробит огонь жестяные слова.
«Российского общества»
плавилась краска,
угрюмые
рушились этажи...

И все это было
как страшная сказка,
которую хочется пережить.

Я вырос
и стал бы, пожалуй, юристом.
А может — бандитом,
а может — врачом.
Но резкого зарева
блеском огнистым
я с детства был
взбужен
и облучен.
И первые слухи
о новом искусстве
мне в сердце толкнули,
как окрик: «Горим!»
В ответ им
безличье, безлюдье, безвкусье,
ничей с ними голос
не соизмерим.
В ответ им
беззубый,
безлюбый,
столетний
профессорски старческий вышамк:
«Назад!»
В ответ им
унылой,
слюнявою сплетней
доценты с процентами вкупе
грозят.
Язычат огнями
их перья и кисти,
пестреет от красок
цыганский их стан,



а против —
желтеют опавшие листья,
что стряхивает с холста
Левитан.
И тысячи
пламенной молодежи,
которая вечно
права и нова,
за ними идут,
отбивая ладоши,
глядеть,
как горят
жестяные слова!

Голос докатывается до Петербурга

Здесь город был.
Бессмысленный город...

Маяковский, «Человек»

Одесса грузила пшеницу,
Киев щерился лаврой.
Люди занимались
самым разнообразным трудом,
и никому не было дела
до этой яркой и ярой
юности,
которой был он
в будущее
ведом.

Однажды он ехал,
запутавшись в путанице

колей, магистралей,
губерний, лесов,
и в тряском вагоне
случайная спутница
укором к нему
обратила лицо:
«Маяковский!
Ведь вот вы — наедине —
и добрый и нежный,
а на людях — грубы».
В минутном молчанье
оледенев,
широкой усмешкой
раздвинулись губы:
«Хотите —
буду от мяса бешеный, —
и, как небо, меняя тона, —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина,
а облако в штанах!»

Как пишет он:
«Это было в Одессе» —
его приобщение
к облакам;
с ним жизнь начинала
чудить и кудесить,
пускать
по чужим любопытным рукам.
И как бы те ни были руки
изнежены,
и как бы ни прикасались легко, —
скорей
сквозь буран он продрался бы
снежный

по скату
соскальзывающих ледников.
Скорей бы
нагрудник
действительной грубости
и в горло —
действительный рев мясника,
чем медная мелочь
общественной скупости,
к земле заставляющая
поникать.

Кто в том виноват?
Проследите по циклам.
Ни тот и ни этот,
ни эта, ни та.
Но горло замолкло,
и сердце поникло,
и щеки
свои изменили цвета.
Схватитесь за голову!
Как это вышло?
Себя разорить,
по кускам раздаря!
Срывайтесь со стен,
равнодушные числа,
ошибкою Гринвича
и календаря!..
Враги закудахчут:
«Он это — в Советском
Союзе
талант свой утратил на треть!»
Молчите!
Не вашим умам-недовескам
такого масштаба
дела рассмотреть!

Одесский конфликт —
лишь по «Облаку» ведом.
Но что там ни думай
и как ни судачь, —
в общественных битвах
привыкший к победам,
в делах своих личных
не знал он удач.
В напоре
привыкший
к ответным
ударам,
по сборищам
мерявший звонкую речь, —
душою швыряться
привык он задаром
и комнатных слов
не сумел приберечь.
В толпе
аплодирующих и орущих,
среди пароходов и доков
в чести, —
он был,
как огромный
натруженный грузчик,
не знающий,
как себя
в лодке вести.
На руль приналяжешь —
все море хоть выпень,
за весла возьмешься —
назад вороти!
Кружит и качает
всесветная кипень,
волна за кормой
и волна впереди.

Из города в город
швыряло, мотало,
на отмели чувства
валило — несло.
И вот
посреди островков
и кварталов
о невский гранит
обломало весло...
Холодом бронзовела
Летнего сада ограда,
пик над Адмиралтейством
вылоснился, остер,
яснилась панорама
теперешнего Ленинграда,
тогдашнего Петербурга
холодный,
пустой простор.
Здесь люди жили
вежливо-глухи,
по пушке выравненные,
как на парад,
банкиры,
гвардейцы,
писатели,
шлюхи —
весь государственный
аппарат.

Торцы приглушали звуки.
Кругом залегли болота.
В тумане
влажнели ноздри
охранников и собак.
И скука сводила скулы,
как вежливая зевота,

в улыбку переходящая
на вышколенных губах...
Ты после узнал его
вооруженным,
когда он
в атаку,
по мокрым торцам,
лавиной «Путиловского»
и «Гужона»
пошел
на ощеренный череп Дворца!
Тогда же
спешили — жили,
каждый своей дорогой,
от Выборгской — до Дворцовой,
от нищего — до туза.
И здесь протекало детство
в перспективе строгой
мальчика — Оставь Не Трогай
и девочки — В Ладонь Глаза.

Обычного типа
их было семейство,
картин и портьер
прописные тона;
их жизнь
повторялась
и длилась
совместно,
как в зеркале — зеркало,
в стену — стена.
Такие же тучи
клубились над нею,
такие ж обычаи,
правила,
дни.

Хоть мальчик был
сдержанней и холоднее,
но вместе
от всех отличались они —
правдивостью, что ли,
и резкостью вкуса,
упорством характера,
ясностью глаз,
уменьем на вещи
не взглядывать куцо,
не ставить
на жизненном почерке
клякс.

Бездонный провал Империи,
собор,
засосанный тиной;
на седлах
и на подпорках
качающийся закон,
и — вздыбленный
Медный Всадник...
Такую они картину
вседневно,
ежеминутно
могли наблюдать из окон...
И девочка выросла
в девушку.
По складу схожи
во многом, —
лишь глаз ее круглых
и карих
больней по коже ожог...
В четырнадцать лет
совместно
они покончили с богом.

И мальчик
среди одноклассников
вел марксистский кружок.
Листки календарные
никли...
Из девушки выросла
женщина.
Вкус к жизни,
к ее сердцевине,
был пробкой притерт,
как духи.
Они сообща ненавидели
чинушество
и военщину.
Но что же любить прикажете?
Себя лишь самих
да стихи?
Она б
и на баррикады —
не дрогнула,
и под своды
угрюмого равелина...
Но не было баррикад.
Единственной баррикадой —
дымившие далью заводы
свинцовым грузом привычек
от них отделяла
река.

Они полюбили друг друга.
Но розно
с родною рукой
обручилась рука.
Она его
навеки —
яростно,

грозно,
а он ее —
разумно,
ясно,
слегка.
И это взаимное
разновесье,
молекул и атомов
взвихренный ход,
грозил
рассверкаться
смертельною вестью
тому,
кто под тучу их крыши
взойдет.

Что с ними случилось?
Общественный обруч
не смог уже сдерживать
бочку без дна:
семьи не устроишь,
судьбы не задобришь,
когда в ней
непрочная клепка видна.
И эти,
любившие с детства друг друга, —
век раньше —
и не было б лучше жены,
и не было б мужа чудесней, —
из круга,
им сродного
выбиты
и обречены!

И город
бездонных пучин
и провалов



над ними —
как призрак —
маячил и стыл;
и мелкою зыбью
Нева целовала
его
разведенные на ночь
мосты.

Центр и окраины

Так вот и буду
в Летнем саду
пить мой утренний кофе.

Маяковский, «Человек»

Вот каким был
этот город.
Чопорный
и надменный.
Город
холодных взглядов,
кариатид,
дворцов.
Город казенных складов,
чувств
и монеты разменной,
где гробовщик надумал
в гости созвать
мертвецов.
Город —
кусок Европы,
выхоленный,
бесстыжий,
камнем
на сердце легший,

камнем —
на грудь страны.
Город,
в котором выжить —
значило то же,
что — выжать,
где проживешь — без славы
и пропадешь — без вины.
Хмурый,
на Финском взморье,
тесанный
зорким зодчим,
полный химер и бредней,
тонких сукон и питей.

Город
прямых проспектов,
не исключавших,
впрочем,
самых косых
душонок,
самых кривых
путей.
Выверенный впервые
в точности астролябий,
выметнувший в туманы
взлет корабельных ростр;
выпяленный
двуглавый
в небе —
орел остролапый,
выметнувшийся над миром
в полный петровский рост.

Вот по таким проспектам
окаменелой славы,

оледенелой речи,
выправки неживой
шел
не согласный некто
с выспренностью державы,
будущего разведчик,
времени сторожевой...
Искрились
и сверкали
вспышки витрин
в тумане,
словно хотели вызнать,
выведать на свету, —
сколько у вас
в запасе,
сколько у вас
в кармане,
сколько у вас
пылает
радужных на счету?
Рифмы его сверкали
глубью
бездонных граней.
Мысли метались
дичью
неприрученных строк.
Будущего виденья,
четче,
чем на экране,
требовали ускорить
свой наступавший срок.

Тотчас при появленье
высчитан и расчислен,
скупщиками валюты
в чем бы душа ни жива,

в чем бы ни бились мысли —
продано будет кому-то,
пущено на подкладку,
банты и кружева.
Как бы его обставить,
как бы его обжулить,
как бы его освоить,
выкроить,
утрясти?
Пасть на него раззявить,
глаз на него сощурить,
выгоду —
тем утроить,
этим —
на нет свести?

Люди
на Петроградской
мало стихов читали,
разве что песня
льнула
к Выборгской стороне...
Времени было —
только
чтоб обточить детали
да от хозяйских штрафов
злобу
топить в вине.
Если ж
теснило душу
горечью стародавней, —
выходы находились
в слове крутом, своем.
Хором летели в небо
саратовские «страданья».

«Сами себе сложили,
сами себе споем!»

Он их расслышал сразу,
эти огромные
в малом
жанре
слова и чувства,
стиснутые взаперти.
Он облучал их глазом,
крылья ртом расправлял им,
только не знал —
от Нарвской,
с Выборгской ль подойти?
Нет! — он решил. —
По центру
сразу ударить.
В темя —
силою небывалых
слов, представлений, чувств.
Плохо искать в искусстве
прибыль
процент к проценту.
Крупному разговору
сразу за них научусь!
Эти — его не знали.
Тусклое было время,
мало в оконце свету.
Как ему цену дашь?
Трется промежду теми
в кофте желтого цвету,
дышит,
чегой-то пишет, —
барская, видно, блажь.

Некогда объясняться!
Выиграть темп — и в гущу!
...Вздыбилось.
...Флаги.
...Смеяться.
Взрывом — осколки слов!..
Вот как он очутился
между жующих
и лгущих,
чмокающих тунеядцев,
тысячных наглецов.

Литературной биржей,
биржи большой помельче,
был ресторанчик «Вена»,
пищущих лиц притон,
смесью цинизма
с желчью
вас обжигавший мгновенно,
всем
записным талантам
передававший тон.
Входит:
«Привет, арапы!»
Пальцев сжимают кончик,
хором:
«Ура! За здравье!
Шел разговор о вас.
Нам бы у вас пора бы
выудить фельетончик,
мы бы немедля
вам бы
выписывали аванс».
Так на корню закупая
соду,

поташ,
галеты,
гениев и гранаты,
нежность и рыбий клей,
чавкала туша тупая,
переводя
на котлеты
все,
что имеет цену
для большинства людей.
А у него
лишь — кофты
яркость,
да ясность взгляда,
да еще —
точно из тучи
низко плывущий гром.
Черт его знает, впрочем...
Может,
и это надо?
Купим на всякий случай.
Вдруг
наживешь на нем?

Ерники и подхалимы
вьются, точно налимы,
ходят вокруг да около,
мечутся по кривой.
Хайла свои разинув,
липнут неотразимо,
жабры топорщат —
метят
выскользнуть с-под него.
Синежурнальная сволочь,
купринские опивки,

пыль
Леониду Андрееву
слизывавшие с сапогов,
перья свои нацелив,
точно дикарские пики,
колют его,
идущего
через хребты веков.

А он на них шел
молодым и глазастым,
на войско,
ведомое
силой рубля,
на них,
перекатывавшихся балластом
по трюмам державного корабля.
И все,
чем земля
его сердце украсила,
всю силу искусства
в открытом бою
он двинул
против литературного прасола,
в упор живописному шибаю.

Быть может,
им путь
был неправильно начат.
Но — видите,
что он
наделал потом!
И многие ль — больше
и вровень с ним — значат,
пошедшие
более легким путем?!



Первая трагедия

Я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.

Маяковский, «Облако в штанах»

В те дни,
вопреки всем преградам и проискам,
весна
на афиши взошла и подмостки:
какие-то люди
ставили в Троицком
впервые трагедию
«В. Маяковский».
В ней не было
доли
искусства шаблонного;
в ней все —
неожиданность,
вздыбленность,
боль;
все —
против тупого покроя
Обломова:
и автор,
игравший в ней
первую роль,
и грозный
цветастый
разлет декораций,
какие
от бомбами брошенных слов,
казалось,
возьмут —
и начнут загораться,

сейчас же,
пока еще действие шло.
Филонов,
без сна их писавший
три ночи,
не думал на них
наживать капитал,
не славы искал
запыленный веночек, —
тревогой и пламенем
их пропитал.

Теперь это
стало истории хламом,
куски декораций,
афиши...
А там —
это было
единственным самым,
что ставило голову выше.
Теперь это
давняя перебранка,
с которой
и в книгу не сунусь.
А было —
периодом
Sturm'a und Drang'a,
боями
за право на юность!

Представьте:
туманный,
чиновный,
крахмальный
день,
не выходящий из ряда,

и в нем
неожиданно,
звонко,
нахально
гремящая буффонада.
Представьте себе
этот профиль столичный,
в крахмале
тугого зажима,
в испуге
на окрик насмешливо-зычный
повернутый недвижимо.
Представьте себе
эти вялые уши,
забитые ватой
привычных цитат,
глаза эти —
вексельной подписи суше,
мигающие
на густые цвета.
Часть публики аплодирует:
«Наши!»
Но большая,
негодуя, свистит.
Зады
поднимают со стульев папаши,
волнуясь, взывают:
«Где скромность, где стыд?!»

Да, скромностью
наши
не отличались тут;
их шум
в добродетелях — подкачал:
ни скромности,

ни уваженья к начальству,
ко всякому
в корне
началу начал.
Но то, что казалось папашам
нахальством
и что трактовалось
как стиль буффонад, —
не явной ли стало
размолвкой с начальством:
истерся
Россию вязавший канат!
Уже износились
смиренья традиции,
сошла позолота,
скоробился лак,
и стало
все больше
в семействах родиться
бездельников,
неслухов,
немоляк.

Бездельем считалось
все,
что — хоть постепенно,
хоть как бы ни скромно,
и как ни мало —
примерного юношу
вверх по ступеням
общественной лестницы
не вело.
Бездельничество —
это все,
что непрочно,

все,
что не обвеяно
запахом щей,
несхоже с былым,
непривычно,
порочно
и — противоречит
порядку вещей.
Порядок же
явно пришел
в беспорядок!
По-разному
шли в учрежденьях часы...
И как ни сверкали
клинки на парадах —
рабочая сила
легла на весы.

И часто, в тоске,
ужасалась супруга,
и комкал газету
сердитый супруг,
что
«...мальчик
из нашего выбился круга!»,
что
«...девочка
вовсе отбилась от рук!»
Потомство
скрывалось на горизонте.
«Ведь были ж послушны
и мягки, как шелк!»
«А нынче —
попробуйте урезоньте!»
«А ваш-то
небось в футуристы пошел!»

Вот так это все
и случалось и было:
не то чтоб
начальственный окрик
ослаб,
но — детство
мамаше с папашей грубило
на весь
беспредельный российский масштаб.
А вместе с родительскими —
царский и божий
клонился,
в цене упадая,
престиж,
и стала страна
на себя непохожей,
все злей и угрюмей
в затылке скрести.

Конечно,
не спор о семейственном благе
массовкой
топорщился
у леска,
но —
массовой перебежкою в лагерь
редели
былого уклада войска.
Конечно,
не в этом была революция,
героика будней,
упорство крота,
но все беспризорнее
головы русые
мелькали
украдкою за ворота.

Я знал эту юность,
искавшую выход
под тусклой опекою
городовых,
не ждавшую
теплых местечек и выгод,
а судьб —
торжественных и передовых.
Казалось —
все скоро изменится...
Ждали
каких-то неясных предвестий,
толчков.
Старались заглядывать в завтра.
Но дали
хмурели
в обрывках газетных клочков.
Казалось —
все скоро исполнится...
Слишком
была эта явь
и темна и тесна.
Ловили
отгулы грозы
по наслышкам,
шептались,
что скоро наступит весна.

И вдруг —
в этом скомканном,
съеженном мире,
где день не забрезжил
и сумрак не сгас, —
во всей своей молодости
и шири



пронесся призывом
грохочущий бас:
«Ищите жирных
в домах-скорлупах
и в бубен брюха
веселье бейте!
Схватите за ноги
глухих и глупых
и дуйте в уши им,
как в ноздри флейте».
Вот тут-то
и поднялась потасовка:
«Забрать их в участок!
Свернуть их в дугу!»
А голос взвивался
высоко-высоко:
«О-го-го» могу!..»

«Впереди поэтовых арб»

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотрите —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!

Маяковский, «Ко всему»

Вот он возвращается
из Петрограда —
красивый,
двадцатитрехлетний,
большой...

Но есть в нем какая-то горечь,
утрата,
какое-то облако над душой.
Сказали:
к друзьям он заявится
в среду.
Вошел.
Маяковского —
не узнать.
Куда подевались —
их нету и следу —
его непосредственность
и новизна.
Уж он непохож
на фабричного парня:
белье накрахмалил
и волос подстриг.
Он стал прирученней,
солидней,
шикарней — по моде
последний со Сретенки крик.
(На Сретенке были
дешевые лавки
готовой одежи:
надень и носи.
Что длинно —
то здесь же
возьмут на булавки;
что коротко —
вытянут по оси).
Такого вот —
можно поставить к барьеру:
цилиндр,
и визитка,
и толстая трость.

Весь вид —
начинающий делать карьеру
наездник из цирка
и праздничный гость.

Они ему крылья
напрочь обкорнали,
сигарой зажали
смеющийся рот,
чтоб стал он картинкой
в их модном журнале
не очень опасных
построчных острот.
Они его в шик облачили
грошовый,
чтоб смех,
убивающий наповал,
чтоб голос его
разменять
на дешевый
каданс
их прислужников-запевал.

На нем же любое платье
выглядело элегантным;
надетым не для фасонов
и великосветских врак...
Он был
какого-то нового племени
делегатом,
носившим
так же свободно,
как желтую кофту,
фрак.

И в блеске
лоснящегося цилиндра
отсвечивал холод,
лицо озарив;
так —
в порохе блещущая
селитра
напоминает
про грохот,
про взрыв.

И — хоть он печатался
в «Сатириконе»,
хоть впутался в ленты
ермольевских фильм, —
весь мир его помыслов
был далеко не тем,
чем казался
для нас,
простофиль.
Он законспирировал
мысли и темы;
расширив глаза,
он высматривал год —
тот год,
где поймем и почувствуем
все мы,
что мир разделился
на слуг и господ.
Он больше не шел
против ихних обрядов;
он блуз полосатых
уже не носил.
И только одно
не укрыл он, упрятав:

сердечного грохота
в тысячу сил.

И сразу
все темы мельчали...
Одна —
до дрожи стены.
И сразу
друзья замолчали —
так были потрясены.
И после,
взмывая из мрака,
тянулись к нему голоса,
и пестрая вязь
Пастернака,
и хлебниковская роса;
и нервный, точно котенок
(к плечу завернулась пола),
отряхивал лапки Крученых;
Каменский пожаром пылал;
и Шкловского яростная улыбка, —
восторгом и болью
искривленный рот,
которому
вся литература — ошибка,
и все переделать бы — наоборот!

Комедия
превращалась в «мистерию»:
он зря ее думал
развенчивать в «буфф»;
все жестче
потерю ему за потерею
приписывал к жизни
всесветный главбух.

Все чаще и чаще
впадал он в заботу,
судьбы обминая
тугой произвол;
все гуще, как в лямки,
влегал он в работу
и книгу надписывал подписью:
Вол.
Огромным
упорным Самсоном остриженным
до мускульных судорог
вздувшихся плеч, —
он речь
от дворцов поворачивал
к хижинам,
других за собой
помышляя увлечь.
И это
и все,
что в стихах его лучшего,
толпа равнодушных
и сонных зевак
не видела
из-за лорнета бурлючьего,
из-за скопившихся в сплетнях
клоак.
Но были в России
хорошие люди:
действительно —
соль ее,
цвет ее,
вкус.
Их путь, как обычно,
был скромен и труден.
И дом небогат,
и достаток негуст.

Я знаю отлично:
не ими одними
спасен был
тогдашней России содом.
Но именно эти
мне стали родными,
с их вкусом,
с их острым событий судом.
Их пятеро было,
бесстрашных головок,
посмевших свой взгляд
и сужденья иметь;
отвергнувших путь
ханжества и уловок,
сумевших
меж волков
по-волчьи не петь.

Сюда сходились все пути
поэтов
века нашего;
меж них,
блистательных пяти,
свой луг
рифмач выкашивал.
Как пахнут
этих трав цветы!
Как молодо
и зелено!
Как будто бы с судьбой
на «ты»
им было стать повелено.
Здесь Хлебников жил,
здесь бывал Пастернак...

Здесь —
свежесть
в дому служила.
И Маяковского
пятерня
с их легкой рукой дружила.
Взмывало солнце петухом
в черемуховых росах.
Стояло время пастухом,
опершимся о посох.
Здесь начинали жить
стихом
меж них —
тяжелокосых.
Но мне одному лишь
выпало счастье
всю жизнь с ними видеться
и общаться.
Он,
заходя к нам,
угрюм и рассеян,
добрел
во всю своих глаз ширину,
басил про себя:
«Счастливый Асеев —
сыскал себе
этакую жену!»

Я больше теперь
никуда не хочу выходить
из дому:
пускай
все люстры в лампах
горят зажжены.
Чего мне искать

и глазами мелькать по-пустому,
когда — ничего на свете
нет
нежнее моей жены.
Я мало писал про нее:
про плечи ее молодые;
про то,
как она справедлива,
доверчива и храбра;
про взоры ее голубые,
про волосы золотые,
про руки ее,
что сделали в жизни мне
столько добра.
Про то,
как она страдает,
не подавая виду;
про то,
как сердечно весел
ее ребяческий смех;
про то,
что ее веселье,
как и ее обида,
душевней и человечней
из встреченных мною всех.
Про то,
как на помощь она
приходит быстрее света,
сама никогда не требуя
помощи у других;
про то,
как она служила
опорою для поэта,
сама для себя не делая
ни из кого слуги.



И каждое
свежего воздуха к коже
касанье,
и каждая
ясного утра
просторная тишина,
и каждая
светлая строчка
обязана ей,
Оксане, —
которая
из воспетых
единственная
жена!

Четырнадцатый год

«Что задумался, отец?
Али больше не боец?
Дай, затянем полковую,
А затем—на боковую!»

Хлебников

Война разразилась
внезапно,
как ливень;
свинцовой волной
подступила ко рту...
Был посвист снарядов и пуль
заунывен,
как взвывы
тревожной лебедки в порту.
Еще не успели
из сумрака сонного
ко лбу донести —

окрестить —
кулаки,
как гибли уже
под командой Самсонова
рязанцы,
владимирцы,
туляки.
Мы крови хлебнули,
почувствовав вкус ее
на мирных,
доверчивых,
добрых губах.
Мы сумрачно вторглись
в Восточную Пруссию
зеленой волной
пропотелых рубах.
И хоть мы не знали,
в чем фокус,
в чем штука,
какая нам выгода
и барыш, —
но мы задержали
движенье фон Клука,
зашедшего правым плечом —
на Париж!
И хоть нами не было
знамо и слыхано
про рейнскую сталь,
«цеппелины»
и газ,
но мы опрокинули
планы фон Шлиффена, —
как мы о нем, —
знавшего мало о нас.
Мы видели скупо
за дымкою сизой,

подставив тела
под ревущую медь,
но —
снятые с фронта
двенадцать дивизий
позволили
Франции уцелеть.

Из всех обнародованных
материалов
тех сумрачных
бестолковых годин —
известно,
как много Россия теряла.
И все ж
мне припомнился
новый один.
Один
из бесчисленных эпизодов,
который
невидимой силой идей
приводит в движение
массы народов,
владеющих судьбами
царств и людей.
Министры — казну обирали.
Шакальи
фигуры их
рвали у трупов куски.
А парни с крестами —
шагали, шагали,
разбитые пополняя полки...
Я ехал в вагоне,
забритый и забранный
в народную повесть,
в большую беду.

Я видел,
как учащенными жабрами
держава дышала,
как рыба на льду.
Вагон третьеклассный.
В нем — чуйки, тулупы,
тенями подрагивающими
под бросок,
огарок оплывший
и въедливый, глупый,
нахально надсаживающий голосок.
Заученных слов
не удержишь потока:
«За матушку Русь!
За крушенье врага!»
А сверху глядела
папаха,
винтовка
и туго бинтованная
нога.
Оратор
захлебывался, подбоченясь,
про крест над Софией,
про русский народ.
Но хмуро и скучно
глядел ополченец
на пьющий и врущий
без удержу рот.
Оратор — ярился:
«За серых героев!
Наш дух православный —
неутомим!
Мы дружно сплотимся,
усилья утроив,
и диких тевтонов
вконец разгромим!»

Когда ж
до «жидов»
и до «социалистов»
добрался
казенных мастей
пиджачок, —
не то обнаружился
просто в нем пристав,
не то это
поезд сделал толчок,
но раненый ясно,
отчетливо,
строго,
с какой-то
брезгливостью ледяной
отрезал:
«Мы не идиоты!» —
и, ногу
поддерживая,
повернулся спиной.
«Мы не идиоты!» —
вот в чем было дело
у всех этих раненых
без числа;
вот что
и на стеклах вагонных нальдело
и на сердце
вьюга в полях нанесла.
На скошенных лезвиях
маршевой роты
мелькало,
неуловимо, как ртуть,
холодное это:
«Мы не идиоты!» —
и штык угрожало
назад повернуть.

И, правда,
кому б это стало по нраву, —
пока наживалась
всесветная знать, —
на Саву, Мораву
и Русскую-Раву
своими скелетами
путь устилать?!

Вагон тот —
давно укатился в былое,
окопы
запаханы в ровную гладь,
но память
не меркнет
об этом герое,
сумевшем
в три слова
всю правду собрать.
Три слова —
плевком по назойливой роже!
Три слова —
где зоркая прищурь видна!
Три слова —
морозным ознобом по коже,
презрение
выцедившие до дна!

И в это же время, —
две капли таковский, —
с правдивостью
той же
сродненный вдвойне,
бросал свои реплики
Маяковский

Кащеихе стальнозубой —
Войне.
Он так же мостил
всероссийскую тину
булыжником слов —
не цветочной пыльцой;
ханже и лгуну
поворачивал спину,
в пощечины
с маху хлеща подлецов.
И понял я
в черных бризантных вихрях,
что в этой
тревожной браваде юнца
растет
всенародный
российский выкрик,
еще не додуманный
до конца.
Я понял —
не призрак поэта модный,
не вешалка
для чувствительных дев, —
что это великий,
реальный,
народный,
пропитанный
смехом и горечью
гнев.
Я понял,
что, сердце сверяя по тыщам,
шинель рядового
сносив до рядна,
мы новую родину
в будущем
ищем,



которая
всем матерински
родна.

Спросите теперь
у любого парнишки:
«Мила тебе родина?
Дорог Союз?» —
и грозно сверкнут
пограничные вышки,
в бинокль озирая
границу свою.
Ту, за которую
драться не стыдно,
которой
понятны нам цели
и путь,
с которой
и жить
и умереть —
не обидно
ничуть!

Невский перед Октябрем

Октябрь прогремел,
карающий,
судный.

Маяковский, «Про это»

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй.

Маяковский

Земля
тех дней
никогда
не забудет,

тех массовой силою
кованных дней,
пока на ней
существуют люди,
покамест песня
звенит над ней!

Еще петушится
тщедушная прядка
на взмыленном
узеньком
керенском лбу;
но чаще
защитники правопорядка
с позором
проваливаются в толпу.
Уже пригляделись
к ораторам сытеньким,
выныривавшим
и исчезавшим во мглу,
на быстрых,
стихийно вскипающих
митингах,
везде —
то на том,
то на этом
углу.
Волненьем
уже относило в сторонку
пустых болтунов
и слюнявых растяп.
На Невском
вил за воронкой воронку
в матросских бушлатах
темневший Октябрь.

Ветер треплет
обрывки реплик,
полы и бороды
носит по городу.
Вот бас, умудренно рыкая,
прозреть призывает слепцов:
«Погибнет Россия!»
«Какая?
Помещиков да купцов?!»
Насупились бороды строгие.
В упор. На каждом шагу.
«Но это же — демагогия...
Я так рассуждать не могу!»
Вот парень
в промасленной кепке,
изношен пиджак
до прорех...
Слова его
крупны и крепки — отборный
каленый орех:
«Они на панелях-то смелы,
одетые в сукна-шелки...»
«Которые
за Дарданеллы —
построились сами б
в полки!»
«Пошли б в наступление
сами,
чем нас
выставлять норовить...»
«С такими-то корпусами —
да кайзера
не раздавить?»

Вот дамочка,
выкатив бельма,

трезвонит горячую речь, —
что
«тайным агентам Вильгельма
себя не позволит увлечь»,
что
«всюду, во всем недостатки»,
что
«темный народ бестолков»,
что
«нужно кончать беспорядки
насильников-большевиков».
Аж зубы от злобы согнула —
так
жирная жизнь дорога!
Как вдруг
через плечи
шагнула
в огромном ботинке нога.
«Она у меня кошелек стащила!
Вчера, на Обводном,
вот так же врала.
Вот эта же самая
чертова сила
засунула руку в карман
и драла!»
Пунцовыми пятнами — дама,
у барыни рот окосел...
Но этот, Высокий,
упрямо
на пылкую даму насел:
«Она у меня кошелек
с получкой!..
Вот эта вот самая,
позавчера...
Да вы, мадам,
не машите ручкой,

невинность разыгрывать —
песня стара».
Смех, гомон,
свист, шум, —
лед сломан
злых дум.
«Вы,
гражданка,
нам мозгов не туманьте.
Ишь бровки распялила
до облаков!»
Все руки
ощущали, как по команде,
карманы штанин
и борты пиджаков.
«Айда, Васюк!
Да пальто поплотнее,
видать, мастерица
насчет кошельков».
«Постой!
Да чего хороводиться с нею.
А треплется!
Тоже, про большевиков!»
«Позвольте, однако,
побойтесь же бога!
Я вижу впервые вас.
Есть же предел!..»
«Да что там с такой
разговаривать много!»
И — митинг таял, дробился, редел...
«Позвольте!
Ну что же это за диво?
Я вас не встречала
во веки веков!»
Высокий над ней
наклонился учтиво:



«Вот так же, мадам,
как и большевиков!
И как ваша речь
горяча ни была,
и как ваши чувства
ни жарки, —
вернувшись домой,
не срывайте зла,
прошу вас,
на вашей кухарке!..»

Земля
тех дней
никогда
не забудет,
тех кованных
массовой силою дней,
пока на ней
существуют люди,
покамест песня
гремит над ней!

Хлебников

Он говорил:
«Я бедный воин, я одинок...»
Хлебников

Вы Хлебникова видели
лишь на гравюре.
Вы ищите слов в нем
и чувств посвежей.
А я гулял с ним
по этой буре —

из войн, революций,
стихов и чижей.
Он был высок,
правдив и спокоен,
как свежий, погожий
сентябрьский день.
Он был действительно
бедный воин —
со всем, что рождало
бездумье и лень.
Глаза его —
осени светлой озера —
беседу с лесною вели тишиной,
без слов
холодя пошляка и фразера
суровой прозрачностью ледяной.
А рот —
на шиповнике спелая ягода —
был так неподкупно
упорен и мал,
что каждому звуку
верилось загодя,
какой бы он шелест
ни поднимал.
И лоб его,
точно в туманы повитый,
внезапно светлел,
как бы от луча,
и сердце тянулось к нему,
по виду
его из тысячей отлича.
Словно в кристалл времена разумея,
он со своих
недоступных высот
ведал —
за тысячу

до Птолемея
и после Павлова
на пятьсот.

Он тек через пальцы
невыгод и бедствий,
затоптанный в пыль
сапогами дельцов.
«Так на холсте
каких-то соответствий
вне протяжения
жило Лицо».
Он жил —
не ища
ни удобства, ни денег,
жевал всухомятку,
писал на мостах,
граненого слова
великий затейник,
в житейских расчетах
профан и простак.
Таким же, должно быть,
был и Саади,
таким же Гафиз
и Омар Хайям, —
как дымные облаки
на закате —
пронизаны золотом
по краям.
Понять его
медленной мыслью
не траться:
сердечный прыжок
до него разгони!..
Он спал
на стихами набитом матрасе, —

сухою листвою
шуршали они.
Он складывал их в узелок
и — на поезд!
Внезапный входил,
сапоги пропыля:
и люди добрели,
и кланялись в пояс
ему украинские тополя.
Он прошумел,
как народа сказанье,
полупризнан
и полуодет, —
этот,
пришедший к нам
из Казани,
аудиторий зеленых студент.
И, словно листья
в июльском зное,
пока их бури не оголят,
встретились,
чокнулись
эти двое —
сила о силу,
талант о талант.

Как два посла
больших держав,
они сходились
церемонно.
Что тот таит
в себе, сдержав?
Какие за другим знамена?
«Посол садов, озер, полей,
не слишком ли
дремотно знамя?»

«А ты?
Неужто веселей
твой город
с мертвыми камнями?»
«Но в городе
люди живут,
а не вещи!
Что толку описывать
клюв лебедей?!»
«Но лебеди плещут,
а рощи трепещут...
Не вещи ли делает
разум людей?
Завод огромен и высок.
Но он —
клеймом оттиснут
в душах.
Не мягше ли
морской песок,
чем горы
ситцевых подушек?»
«Не тверже ли
сухой смешок,
дающий пищу
жерлам пушек?»
«Да,
миром владеет
бездушный Кащей...
Давайте устроим
восстанье вещей!
Ведь: слово «весть»
и слово «вещь»
близки и родственны корнями, —
они одни — в веках —
и есть

людского племени
орнамент!
Смотрите же,
не забудьте обещанья:
отныне —
об одних больших вещах
вещанье».

Такой разговор,
может, в жизни и не был;
лишь взглядов обмен
да сердец перебой.
Но старую землю
под новое небо
они поклялись
перекрыть над собой.
Маяковский любил
Велемира, как правду,
ни пред кем
не складывающуюся пополам.
Он ему доверял,
словно старшему брату,
уводившему за руку
вдаль, по полям.
Он вспоминал о нем,
беспокоился,
когда Хлебников
пропадал по годам:
«Где же Витя?
Не пропал бы под поездом!
Оборвался, наверное,
оголодал!»

А Хлебников шел по России
неузнанный,
костюм себе выкроив
из мешков,

сам —
поезд
с точеными рифмами-грузами
по стрелкам
сочувствий,
толчков
и смешков.
Он до пустыни Ирана
донашивал
чистый и радостный
звучности груз,
и люди,
не знавшие говора нашего,
его величали
Дервиш-урус.
Он шел,
как будто земли не касаясь,
не думая,
в чем приготовить обед,
ни стужи,
ни голода не опасаясь,
сквозь чащу
людских неурядиц и бед.

Бывало, его облекут,
как младенца,
в добротную шубу,
в калоши,
и вот
неделя пройдет и —
куда это денется:
опять — Достоевского «Идиот»!
Устроят на место,
на службу пайковую:
ну, кажется, есть
и доход и почет.

И вдруг
замечаешь фигуру знакомую:
идет,
и капель ему щеки сечет.
Идет и теребит
от пуговиц ниточки;
и взгляда не встретишь
мудрей и ясней...
Возьмешь остановишь:
«Куда же вы, Витечка?»
«Туда, —
отмахнется, —
навстречу весне!»

Попробуйте вот,
приручите, пририштопайте,
поставьте на место
бродячую тень:
он чуял
в своем безошибочном опыте
ту свежесть,
что в ноздри вбирает
олень.
Он ненавидел
фальшь и ложь,
искусственных чувств
оболочку,
ему, бывало, —
вынь да положь
на стол
хрустальную строчку.
Он был Маяковского
лучший учитель
и школьную дверь запахнул
навсегда...



А вы — в эту дверь
напирайте,
стучите,
чтоб не потерять
дорогого следа!

Осиное гнездо

> ... Желаю
> видеть в лицо,
> кому это
> я
> попутчик?!
>
> *Маяковский,* «Город»

К этому времени
сходится все —
все нити
и все узлы.
Опять обозначился
жирный кусок
и вин моревой разлив.
У множества
сердце было открыто
и только рубахой защищено.
А мелочь
теснилась опять у корыта
богатств, привилегий,
наживы, чинов.
Уже прогремел монолог
«О дряни»...
На месяц
поставив себя за станки,

в партийные
начали метить —
дворяне
какие-то маменькины сынки.
По книжке рабочей
отметив зарплату
и личико постно
скрививши свое, —
они добывали
секретно,
по блату,
особо ответственный,
жирный паек.
Они отъедались,
тучнели,
лоснились;
кто косо смотрел на них —
брали в тиски;
и им по ночам
в сновидениях снились
еще более лакомые
куски.
Они торопились,
тревожась попасться;
они заполняли
собой этажи;
они накопляли
для боя
запасы
валюты и наглости,
жира и лжи.
У партии
было заботы —
сверх меры,
проблем неотложных —
невпроворот!..

Метались
тревожно милиционеры
за валютчиками
у Ильинских ворот.
А те,
притаившись
за шторками в доме,
глядели,
когда эти беды минут;
их папа,
нахохлясь,
сидел в Концесскоме
и ждал для сигнала
удобных минут.
От них,
ограниченных,
самовлюбленных,
мечтавших фортуну
за хвост повернуть, —
вся в мелких словечках,
ужимках, уклонах,
ползла непролазная
слякоть и муть.

Москва
была занесена снегами
дискуссий, споров,
сделок и торгов;
Москва
была заслежена шагами
куда-то торопившихся
врагов.
Шаги петляли,
путались,
ветвились,

завертывали за угол
в тупик,
задерживались у каких-то
крылец,
и вновь мелькал
поднятый воротник.
Тогда-то
и возник в литературе
с цитатою луженой
на губах,
с кошачьим сердцем,
но в телячьей шкуре,
литературный гангстер
Авербах[1].
Он лысину
завел себе с подростков;
он так усердно тер ее рукой,
чтоб всем внушить,
что мир —
пустой и плоский,
что молодости —
нету никакой.
Он черта соблазнил,
в себя уверя б:
в значительности
своего мирка.
И вскоре
этот оголенный череп
над всей литературой
засверкал.
Он шайку подобрал себе
умело

[1] Несомненно, эта характеристика Авербаха была вызвана крайней остротой литературной борьбы того времени. Следует иметь в виду, что Л. Л. Авербах в 1961 году посмертно полностью реабилитирован. *(Прим. редакции.)*

из тех,
которым нечего терять;
он ход им дал,
дал слово им
и дело;
он лысину учил их потирать.
Одних — задабривая,
а других — пугая,
он все искусство взял
под свой надзор;
И РАПП, и АХР,
и несказаль другая
полезли
изо всех щелей и нор.

Расчет был прост:
на случай поворота,
когда их штаб
страну в дугу согнет, —
в искусстве
их муштрованная рота
направо иль налево отшагнет.

Но как же с Маяковским?
Эту птицу
не обойти
ни прямиком,
ни вкось:
всю жадность
ненасытных аппетитцев
испортит,
ставши в горле,
эта кость!
И вот к нему
с приветом и поклоном

как будто бы
от партии самой:
«Идите к ним,
к бесчисленным мильонам,
всей дружной
пролетарскою семьей...»
Он чуял,
что и дружбой здесь не пахло
и
что-то непонятное
росло,
что жареным от МАППа
и от АХРа
на тысячу километров несло.

Тогда, увидев,
что за них не тянет,
они решили,
не скрывая злость,
так одурманить или оболванить,
чтоб свету увидать не довелось!
Они читали лекции
скрипуче,
темнили ясность
ленинских идей;
они словцом презрительным
«попутчик»
клеймили
всех не вхожих к ним людей.
Формальным комсомольством
щеголяя,
ханжи, лжецы,
наушники, плуты, —
они мертвили разум,
оголяя

от всей его сердечной
теплоты.

А он не поддавался —
он смеялся;
он под ноги
не стлался им ковром;
он — с партией —
погибнуть не боялся;
он сам
каленым метил их
тавром —
прозаседавшихся
чиновных
бюрократов
и прочих трехнедельных
удальцов;
он все на свет вытаскивал,
что, спрятав,
они наследовали
от отцов;
он горлом
продирался сквозь препоны,
о стены
искры высекал виском!..
И я теперь
по-новому припомнил,
как голову носил он
высоко.

Однажды
мы шлялись с ним по Петровке;
он был сумрачен
и молчалив;
часто —
обдумывая строки —

рядом шагал он,
себя отдалив.
«Что вы думаете,
Коляда,
если
ямбом прикажут писать?»
«Я?
Что в мыслях у вас —
беспорядок:
выдумываете разные
чудеса!»
«Ну все-таки,
есть у вас воображенье?
Вдруг выйдет декрет
относительно нас!
Представьте
такое себе положенье:
ямб — скажут —
больше доступен для масс».
«Ну, я не знаю...
Не представляю...
В строчках
я, кажется, редко солгу...
Если всерьез,
дурака не валяя...
Просто, мне думается,
не смогу».
Он замолчал,
зашагал,
на минуту
тенью мечась
по витринным лампам, —
и как решенье:
«Ну, а я
буду
писать ямбом!»



Разговор с неизвестным другом

> В шалящую полночью площадь,
> В сплошавшую белую бездну
> Незримому имя — «Извозчик!»
> Низринут с подъезда. С подъезда...
>
> *Пастернак,* «Раскованный голос»

Теперь разглядите,
кого опишу я
из тех —
кто имеет бесспорное право
на выход
в трагедию эту большую
без всяческих объяснений
и справок.
Нас всех воспитали и образовали
по образу своему и подобью;
на собственный лад
именами назвали,
с младенчества приучая
к надгробью.
Но мы же метались,
мы не позволяли,
чтоб всех нас
в нули округляли по смете:
кистями,
мелодиями рояля,
стихами —
дрались
против пыли и смерти.
Мы, гневом захлебываясь,
пьянели,
нам море былого
было по колени,

и мы выходили
пылать на панели
глазами блистающего
поколенья.
Нет,
мы не давались
запрячь нас в упряжку!
Ведь то и входило
нам жизни в задачу,
чтоб
не превратиться
за денежку-бляшку
в чужого нам промысла
тощую клячу.

В четыре копыта
лошажья походка;
на лошади двигаться —
предкам пристало.
А если
вокруг задувает
погодка?
А если
дорогу
пургой обсвистало?
В четыре стопы
не осилишь затора,
уж как бы уютно вы
в сани ни сели...
И только
высокая сила мотора
полетом слепым
нас доводит до цели.
И как бы наш критик
ни дулся,
озлоблен,

какие бы
нам ни предсказывал
дали, —
ему не достать нас
кривою оглоблей,
не видеть,
как в тучах мы
запропадали.
О нет,
завожу не о форме
я споры;
но —
только взлечу я
над ширью земною, —
заборы, заборы,
замки и затворы
преградой мелькают
внизу подо мною.

Так что мне
в твоей философии тихой?
Таким ли —
теней подзаборных
пугаться?
Ведь ты же умеешь
взрывать это лихо,
в четыре мотора
впрягая Пегаса.
А я не с тобою
сижу в этот вечер,
шучу, и грущу, и смеюсь
не с тобою.
И в разные стороны
клонятся плечи,
хоть общие
сердцу страшны перебои!

Неназванный друг мой,
с тобой говорю я:
неужто ж безвстречно
расходятся реки?
Об общем истоке
не плещут, горюя,
и в разное море
впадают навеки?
Но это ж и есть
наша гордость и сила:
чтоб — с места сорвав,
из домашнего круга,
нас силой искусства
переносило
к полярным разводьям
зимовщика-друга.

Ты помнишь тот дом,
те метельные рощи,
которые —
только начни размораживать —
проснутся
от жаркого крика:
«Извозчик!» —
из вьюги времен,
засыпающей заживо.
Мороз нам щипал
покрасневшие уши,
как будто хотел нас
из сумрака выловить,
а ты выбегал,
воротник отвернувши,
от стужи,
от смерти спасать
свою милую.

Ведь уши горели
от этого клича,
от этого холода времени
резкого!
Ведь клич этот,
своды годов увелича,
по строчкам твоим
продолжает свирепствовать!

Так ближе!
Не в буре дешевых оваций
мы голос натруженный
сдвоим и сгрудим,
чтоб людям
не рассориться,
не расставаться,
чтоб легче дышалось
и думалось людям.
Ведь этим же
и определялась задача,
чтоб все,
что мелькало
в нас самого лучшего,
собрать,
отцедить,
чтоб, от радости плача,
стихи наши стали
навеки заучивать.
Ведь вот они —
эти последние сроки, —
задолженность молодости
стародавняя, —
чтоб в наши суровые
дружные строки
сегодняшних дней
воплотилось предание.



Маяковский рядом

Мне
    и рубля
        не накопили строчки...

Маяковский, «Во весь голос»

Не в приступе сожалений поздних
и не для того,
чтоб умаслить молву, —
боясь,
чтоб не вышел
великопостник, —
я начинаю эту главу.
Мне в Маяковском
важны — не мощи,
не взор,
горящий бесплотным огнем;
страшусь,
чтоб не вышел он
суше и площе,
чем жизнь —
всегда клокотавшая в нем.

Теперь
на стене,
застеклен и обрамлен,
глядит он с портретов,
хмур и угрюм.
А где ж
его яростный темперамент,
везде поднимавший
движенье и шум?
Разве
из этого матерьяла
он сделан,

что тащат биографы в ГИХЛ?
В нем каждая жилка
жизнью играла
и жизнью играть
вызывала других!

Но мало было игроков:
один — хоть смел,
да бестолков;
другой — хоть и толков,
да скуп:
навар —
на свой снимает суп...
Обычный вид:
соратник
тыщонок сто царапнет
и мчит,
зажав под мышку,
запихивать на книжку.
Устроились все
от велика до мала;
обшились, отъелись,
зажили на дачах.

Такая ли участь
его занимала —
зарытых костей
да зажатых подачек?
Он все продувал
с быстротою ветра;
ни денег,
ни сил своих — не жалел.
Он сердца валюту
растрачивал щедро.
Сердца — а не желе!

Не с тем
чтоб пополнить
прорехи бюджета,
в заре,
наклоняя вихор к вихру,
мы с ним заигрывались
до рассвета
в разную карту,
в любую игру.
Он играл
на все,
что мнилось, пелось —
сердцу человечьему сродни.
Он играл
на радость и на смелость,
на большого будущего дни.
Ветерком рассветным обвеваем,
заполняя улицу собой,
затевал он игры
и с трамваем,
с солнцем, с башней, с площадью,
с судьбой.
Город спал,
тащились в гору клячи,
падал редкий сухонький снежок;
он сказал мне:
«После неудачи
пишется особенно свежо!»

Вкруг его фигуры
прочной, ладной
воздух накалялся до жары,
и летели
в празелень бильярдной
лунами мелькавшие шары.

Вкруг него
болельщики, арапы,
мазчики, маркеры и жучки
горбились, теснились —
поцарапать,
оборвать червончиков клочки.
Ну и шла ж игра!
Кии сгибались,
фонари мигали с потолка —
на огромно выпяленный палец,
на овал
тяжелого белка.
Все огнем текло:
партнеры, ставки
разной масти и величины;
разгорался
самый тугоплавкий;
были все
в игру вовлечены.
Кто-то
кофе пил в соседнем зале;
чьей-то рыбы блекла чешуя...
«Вы вдвойне идете!
Заказали?
Не платите:
отвечаю я!»
Суетится
один краснобай несвежий,
по брюшку цепочкой обвит...
Маяковский
в угол
крупного режет,
а тот ему под руку
говорит:
«Опускайся на дно,
понапрасну сил,

дорогуша моя,
не трать!»
Маяковский
плечом его отстранил
и продолжает играть.
«Ну, такого не сделать ему
нипочем!
Это вам —
не стишки писать!»
Маяковский
оттер его вновь плечом
и опять продолжает играть.
Наконец,
когда случилось рядом
стать, —
как будто видя в первый раз,
Маяковский
кинул сверху взглядом,
за цепочку взял его,
потряс...
Застыл остряк
с открытым ртом:
«Златая цепь на дубе том!»

Пишут,
бодрясь от вздыбленных слов,
усилием морща лоб,
и мелких статей
небогатый улов
бумажным венком — на гроб.
Что есть,
что нету их —
все равно:
любительское дрянцо.
А лучше всех его помнит

Арнольд —
бывший эстрадный танцор.
Он вежлив, смугл, высок, худощав,
в глазах — и грусть и задор;
закинь ему за спину
край плаща —
совсем бы тореадор.
Он был ему спутником
в дальних ночах;
бывают такие —
неведомы
в людской телескоп,
а небесный рычаг
их движет
вровень с планетами.
Он помнит
каждое слово и жест,
живого лица выражение.
Планета погасла,
а спутник — не лжец —
еще повторяет движение.

Собрались однажды
любители карт
под вечер на воле
в Крыму.
И ветер,
как будто входя в азарт,
сдувал
все ставки
к нему.
Как будто бы ветром —
счастья посыл
в большую его ладонь.
И Маяковский,

довольный, басил:
«Бабочки на огонь!»
Азарта остыл каленый нагрев;
на море — и тишь и гладь;
партнеры
ушли во тьму, озверев...
«Пойдем, Арнольд, погулять!»
«Пошли!»
«Давай засучим штаны,
пошлепаем по волне?»
«Идет!» — И вдаль уходят они
навстречу тяжелой луне.
Один высок,
и другой высок,
бредут — у самой воды,
и море,
наплескиваясь на песок,
зализывает следы...
Вдруг Маяковский
стал, застыв,
голову поднял вверх.
В глазах его
спутники с высоты
отсвечивают пересверк.
Арнольд задержался
в пяти шагах.
Спит берег, и ветер стих.
Стоит, наблюдает,
решает: «Ага!
Наверное, новый стих?»
Вдруг до них из дальней дали,
лунной ленью залитой:
«Мы на лодочке катались,
золоти-и-стый, золотой!»
Где-то лодка в море чалит,
с лодки — голос молодой,

и тревожит и печалит
эта песня над водой.
И сама влетает в уши:
«Золотистый, золотой!» —
и окутывает душу
в свежий вечер теплотой.
И молчим мы
или спорим, —
замирая вдалеке,
все плывет она над морем,
не записана никем.
Маяковский
шел под звездным светом,
море отражало небеса.
«Я б считал себя
законченным поэтом,
если б мог
такую
написать».

Все так же поют
соловьи в Крыму,
которых не услыхать ему.
Все те же горы
в сизом дыму,
которых не оглядеть ему.
Иудино дерево цветет,
розовое от пен.
А он под ним
никогда не пройдет,
отгрохотав,
отпев.
И столько новых
людей родилось,
что всех их
взглядом не охватить,

с которыми в жизни
не удалось
ни познакомиться,
ни пошутить.
А он —
с самим Ай-Петри шутил,
гудки пароходные понимал
и с самым жарким из наших светил
густой настой земли распивал.
И столько новых
событий и дел
построилось в мировой парад.
И без него,
крутясь, прогудел
над Барселоной первый снаряд.
И новые пчелы
несут свой мед,
и новые змеи
копят свой яд.

Но знает Земля,
что свое возьмет
над счетом горечей
и утрат.
Над синевой
углубленных рек,
над глубиной
плодоносных руд —
настанет он,
непреложный век,
где будет
сладок
и пот и труд!
Наступит он
со всей полнотой,



чей облик
нам лишь по песне
знаком,
кого мы звали:
«Приди, золотой!» —
своим пересохнувшим языком.
И голос-сокол
сойдет на низы,
неискореним и непобедим.
И мы его снова
услышим вблизи
совсем нерастраченным
и молодым.

Косой дождь

> А зачем
> любить меня Марките?!
> *Маяковский,* «Домой!»

Мы все
любили его за то,
что он не похож на всех.
За неустанный его задор,
за неуемный смех.
Тот смех
такое свойство имел,
что прошлого
рвал пласты;
и жизнь веселела,
когда он гремел,
а скука
ползла в кусты.
Такой у него
был огромный путь,

такой ширины шаги, —
что слышать его,
на него взглянуть
сбегались друзья и враги.
Одни в нем видели
остряка,
ломающего слова;
других —
за сердце брала строка,
до слез горяча и жива.

Вот он встает,
по грудь над толпой,
над поясом всех широт...
И в сумрак уходит
завистник тупой,
а друг
выступает вперед.
Я доли десятой
не передам,
как весел и смел его взгляд;
и — рукоплесканье
летит по рядам
строке,
попадающей в лад.
Ладони бьют,
и щеки горят...
Еще ли — усмешка коса!
За словом —
слова тяжелый снаряд
летит, шевеля волоса.

Советский недруг,
остерегись,

попятившись,
кройся вдаль, —
так страшно
голоса нижний регистр
надавливает педаль.
Все шире плечи,
прямей голова,
все искристее глаза...
Еще,
и еще,
и еще наплывай,
живительная гроза!
И вдруг —
как девушку
нежной рукой —
обнимет веселой строкой.
А это —
надобно понимать,
как девушек обнимать.

Он их обнимал,
не обижая,
ни одной
не причиняя зла;
ни одна,
другим детей рожая,
от него обид
не понесла.
Он их обнимал
без жестов оперных,
без густых
лирических халтур;
он их обнимал—
пустых и чопорных,
тоненьких
и длинноногих дур.

Те, что поумней
да поприглядистей,
сторонились:
не шути с огнем!
Грелись
у своих семейных радостей,
рассуждая:
«Нет уюта в нем!»
Что б из них
додуматься какой-нибудь
кинуться на шею
на века!
Может бы,
и не пришлось покойнику
навзничь лечь
на горб броневика.
Нет,
не кинулись.
Толстели,
уложив в конце концов
на широкие постели
мелкотравчатых самцов.
Может,
и взгрустнет иная,
воротясь
к себе домой,
давний вечер
вспоминая,
тайно от себя самой.
Только
толку
в этом мало —
забираться в эту глушь...
Погрустила
и увяла:
дети,

очереди,
муж.
Нет!
Ни у одной
не стало смелости
подойти
под свод крутых бровей;
с ним одним
навек остаться в целости
в первой,
свежей
нежности своей.
Только ходят
слабенькие версийки,
слухов
пыль дорожную крутя,
будто где-то
в дальней-дальней Мексике
от него затеряно дитя.

А та,
которой он все посвятил,
стихов и страстей
лавину,
свой смех и гнев,
гордость и пыл, —
любила его
вполовину.
Все видела в нем
недотепу-юнца
в рифмованной
оболочке:
любила крепко,
да не до конца,
не до последней
точки.

Мы все любили его
слегка,
интересовались громадой,
толкали локтями его
в бока,
пятнали
губной помадой.
«Грустит?» —
любопытствовали.
«Пустяки!»
«Обычная поза поэта...»
«Наверное,
новые пишет стихи
про то или про это!»
И снова шли
по своим делам,
своим озабочены бытом,
к своим постелям,
к своим столам, —
оставив его
позабытым.
По рифмам дрожь —
мы опять за то ж:
«Чегой-то киснет Володичка!»
И вновь одна,
никому не видна,
плыла любовная лодочка.
Мы все любили его
чуть-чуть,
не зная,
в чем суть
грозовая...
А он любил,
как в рога трубил,
в других аппетит вызывая.
Любовью —

горы им снесены;
любить —
так чтоб кровь из носу,
чтоб меры ей не было,
ни цены,
ни гибели,
ни износу.

Не перемывать чужое белье,
не сплетен сплетать околесицу, —
сырое,
суровое,
злое былье
сейчас под перо мое просится.
Теперь не время судить,
кто прав:
живые шаги его пройдены;
но пуще всего
он темнел,
взревновав
вниманию
матери-родины.

«Я хочу
быть понят моей страной,
а не буду понят, —
что ж,
по родной стране
пройду стороной,
как проходит
косой дождь».

Еще ли молчать,
безъязыким ставши?!
Не выманите
меня на то.

В стихах его
имя мое —
не ваше —
четырежды упомянуто.
Вам еще
лет до ста учиться
тому,
что мне
сегодня дано;
видите:
солнце
вовсю лучится,
а петушок уж пропел
давно!

Страна работала
не покладая рук,
оттачивала
острие штыка
и только изредка
вбирала сердцем звук
отважного,
отборного стиха.
Страна работала,
не досыпая снов,
бурила, строила,
сбирала урожаи, —
чтоб счастьем пропитать
всю землю до основ,
от новых городов
по древние Можаи.

Ей палки впихивали
в колесо
подъемного в гору движенья;

то там,
то здесь появлялось лицо
зловещего выраженья.
И желчный,
сухой,
деревянный смешок,
и в стеклышках —
тусклые страсти,
и трупный душок:
всю Россию в мешок —
лишь нам бы
добраться до власти.
Лицо это,
тайно дробясь и мельчась,
клубилось
в разможенном скопе:
то разом оно возникало,
то часть
его повторявшихся копий.
В нем прошлое
брать собиралось реванш
у нового
лозунгом злобным:
«Разрубим ребенка!
Не ваш и не наш!
Уйдем,
но — уж дверью-то хлопнем!»

Да, дел было пропасть.
Под тенью беды
куда уж там слушать «Про это».
Мутили ряды,
заметали следы
фигуры защитного цвета.

И вот,
покуда — признать, не признать? —
раздумывали, гадая,
вокруг него
поднималась возня
вредителей и негодяев.
«Кого?
Маяковского?!
Что за птица?» —
кривой усмешкою меряя...
Стихом к тупице
не подступиться —
слюной кипит в недоверии:
«Да он недоступен
широким массам!
Да что с ним Асеев
тычется!
Да он подбирался
к советским кассам
с отмычкою футуристической!»
А он любил,
как дрова рубил,
за спину
кубы отваливая;
до краски в лице,
до пули в конце
вниманье стиху вымаливая.

Как медленно
в гору
скрипучий воз
посмертной тянется славы!..
Обоз обгоняя,
взвиваю до звезд
его возносящие главы.



Мотор разорвется,
быть может,
в куски:
штормами
его укачало.
Но прошлого тропы
движенью — узки:
конец — означает начало.

Площадь Маяковского

> Если б был я
> Вандомская колонна,
> я б женился
> на Place de la Concorde.
>
> *Маяковский*, «Город»

Нет, не она,
не площадь Согласия,
стала его настоящей женой,
и не в ее фонарей желтоглазие
сердце расплавлено и обожжено.
Другая,
глазу привычней и проще,
еще не обряженная в гранит,
еще в лесах строительных
площадь
имя его несет и хранит.
Когда на троллейбусе
публика едущая
услышит надсадный
кондукторшин крик:
«Площадь Пушкина,
Маяковского — следующая!» —
поймешь,
как город к нему привык.

Как стал он вхож
в людские понятья!
Как близок строчкой,
прям и правдив!
Ведь ни по приказу,
ни на канате
к себе не притянешь,
сердца обратив...
Читая,
начнешь стихи его путать,
сейчас же
сто голосов —
на подсказ! —
как будто
не я,
а они
как будто
встречались с ним
по тысяче раз.

Ведь это
не выдумка барда бахвальная:
вот этот асфальт,
и эти огни,
и площадь —
не старая Триумфальная,
и — с Пушкиным рядом
встали они!
И все повседневней,
все повсеместней
становится —
миром
его родня.
Сюда он шагал
с Большой своей Пресни,

с шагов своих первых,
с мальчишьего дня.
Сюда по Садовым,
по Кудринским вышкам,
по куполам твердых
булыжных мозгов,
по снежным подушкам,
по жирным одышкам —
широких шагов
направлял он разгон.

Она
Маяковского площадью
названа;
не очень еще ее пышен уют;
и много народа, самого разного,
ее заполняют, толкутся, снуют.
Еще не обрушены
плоские здания,
но уже тем она
хороша,
что — въявь пределы ее
стародавние
раздвинула
новых привычек душа.
Две буквы стоят
квадратные, строчные,
как сдвоенный вензель печати ММ,
как плечи широкие,
крепкие,
прочные,
у входа —
открытого всем, всем, всем.
Москвы в нутро
ведет метро;

один вагон,
другой вагон;
а он на нем
не ездил;
не видел он
стальных колонн,
подземных ламп —
созвездий.

И — глянешь в пролет
обновляемых улиц:
не тень ли метнулась
широкой полы?
Не эти ли плечи
с угла повернулись?
Не шляпой ли машет
он издали?
Он здесь.
Он с нами
остался навечно.
Ему в людской густоте —
по себе.
Он — вон он — шагает,
большой и беспечный,
к своей неустроенной
славной судьбе!

Как он шагал,
как проходил,
как пробивался Москвою
шагом широким,
шагом большим, —
крупной походкой мужскою.
Ботинки номер сорок шесть!

Другим — вдвоем бы можно влезть
и жить уютно в скинутом,
согнув дугою спину там.
А он — не умел сгибаться дугою,
он весь отличался
повадкой другою, —
шагал,
развернувши
тяжелые плечи,
высокой походкою
человечьей.
И после каждого
его шага
метелью за ним
завивалась сага.

Однажды мы выехали
с Оксаной
вдвоем из гостей
по дорожке санной...
А он рядком
зашагал пешком,
подошвы печатая
свежим снежком.
Тогда еще в моде
извозчики были
и редко работали
автомобили.
Возница на клячу
чмок да чмок
и все же его
обогнать не смог.
И нас
на полсажня опередя,
дорогу под носом
у нас перейдя,

он стал
и палкой нам отсалютовал,
дескать: «Привет!
До свиданья! Покудова!»

И в этом жесте
мальчишеском, гордом,
который движенье и радость таит,
хотел бы я,
чтоб стал он
над городом,
как в памяти нынче в моей
он стоит.
Стоял,
весельем
и силою вея,
чтоб так бы его
наблюдала толпа:
в пальтишке коротеньком
от Москвошвея,
в шапчонке,
сбитой к затылку со лба.
Вот так,
во всем и везде
впереди, —
еще ты и слова не вымолвишь, —
он шел,
за собой увлекая ряды,
Владимир Необходимович!

Но мысли о памятнике —
пустые.
Что толку,
что чучело вымахнут ввысь?!



Пускай эти толпы
людские густые
несут его силу,
движенье
и мысль.
Пока поток
не устанет струиться,
пока не иссякнет
напор буревой,
он будет в глазах
двоиться, троиться,
в миллионные массы
внедряясь живой.
На Мехико-сити,
в ущельях Кавказа,
в протоках парижского сквозняка —
он будет повсюду
в упор, большеглазо,
строкою раскручиваясь,
возникать.
И это —
не окаменелая глыба,
не бронзовой маски
условная ложь,
а вечная зыбь
человечьих улыбок,
сердец человеческих
вечная дрожь!

Эпилог

Сегодня
с дерев срываются листья,
и угол меняет
земная ось,

и лес
как шуба становится лисья —
продут
и вызолочен насквозь.
И в свисте
этих порывов грубых,
что мусорный шлейф
подымают, влача, —
писатель
задумывается о шубах
и прочем отребье
с чужого плеча.
Писательство —
не искусство наживы,
и зря нашу жизнь
проверять рублем.
При этом
всплывут —
которые лживы,
потонут —
кто в строчку до слез влюблен...

А впрочем,
к чему предъявлять обвиненья, —
нужны организму
и нервы
и слизь.
Страна была — светом,
они были — тенью,
а свету без тени
не обойтись.
Пускай существуют,
меня не тревожа,
и если
о них я теперь и пишу, —

крепка моя сила,
груба моя кожа, —
я землю
для будущего
пашу.
Чтоб новая
радостная эпоха —
отборным зерном человечьим
густа —
была от бурьяна
и чертополоха
обезопашена
и чиста.
Чтоб не было в ней
ни условий,
ни места
для липких лакеев,
ханжей
и лжецов,
для льстивого слова,
трусливого жеста;
чтоб люди людей —
узнавали в лицо.
Чтобы Маяковского
облик веселый
сквозь гущу веков
продирался всегда...
Им будет —
я знаю! —
Земли новоселы,
какая-то названа
вами
звезда.

1936—1939

Знаменосец революции[1]

Чем дальше вглубь
уходят года, —
острей очертания лет, —
тем резче видишь,
какой он тогда
был
и остался
поэт!
Не только роста
и голоса сила,
не то,
что тот или та
влюблена, —
его
на вершине своей
выносила
людского огромного моря
волна.
Он понимал
ее меры могучесть;
он каплей в море был, —
но какой! —
стране поручив
свою звонкую участь,
свой вечно взволнованный
непокой.

Стихи до него
посвящались любви,

[1] Ниже следуют две дополнительные главы, написанные Н. Асеевым в начале 1950 года.

учили
любовные сцены вести.
А он,
кто землю б
в объятья обвил,
учил нас
высокой ненависти!
Ненависти
ко всему,
что на месте стало,
что в мясо
когтями вросло,
что новых страниц бытия
не листало,
держась
за прочитанное число.
Ненависти
ко всему,
что реваншем
грозило
революционной борьбе,
что в лад подпевало
и нашим и вашим,
а в общем итоге
тянуло к себе.
Зато и плевал он
на все прописное,
на все,
чем питалось
упрямство тупиц.
Его бы нетрудно поссорить
с весною,
за вид ее общепримерный
вступись!
Скривил бы губу он:
«Цветочки да птички?

В ежи готовитесь?
Иль в хомяки?
Весенние
тех привлекают привычки,
чьи не промокают в воде
башмаки!»

Ему
революции
были по нраву.
Живи —
он бы не пропустил
ни одной;
он каждой бы стал
знаменосцем по праву,
народным восстаниям
вечно родной.
Он был бы
с рабами восставшими Рима;
дубину взвивая,
глазами блестя,
он шел бы упорно
и непокоримо
на рыцарей
в толпах
восставших крестьян.
С парижскими
сблизился б
санкюлотами,
за спины б не скрылся,
в толпе не исчез, —
пред Тьера огнем
озмеенными ротами,
он был погребен бы
на Пер-Лашез.

И снова
под знойною Гвадалахарою,
в атаке пехоты на Террихон,
восстанию верность
и ненависть ярую
на белых,
возникнув,
обрушил бы он.
Он был бы
отборных слов
полководцем
в Великой Отечественной войне;
он нашим
везде
помогал бы бороться,
фашистам
ущерб наносил бы вдвойне.
Чтоб вновь,
вдохновляя
к победе влеченьем,
звучало зовущее слово:
«Вперед!»
Чтоб вырос
в своем величавом значенье
советского времени патриот.

Но что говорить
о том,
что бы было, —
он зова не слышал
тревожной трубы;
военное время
еще не трубило,
а шло исступленье
безмолвной борьбы.

«Идиотизм деревенской жизни...» —
великая мысль
этих яростных слов!
Вот в этом
кулацком идиотизме
немало запуталось
буйных голов.
у них песнопевцем
считался провитязь,
мужицкого образа
изобразист,
стихи обернувший
в березовый ситец,
в березах
укрывший
разбойничий свист.
Против Маяковского
выставлен в драке,
кудрями потряхивал,
глазом блистал,
в отчаянной выхвалке забияки
корову
подтягивал на пьедестал.
«Бессмертна
мужицкая жисть,
и, покуда
заветам отцов
она будет верна,
достанет и браги
у сельского люда,
и хлеба, и сена,
икон, и зерна...»
И, вкусам кулаческим
втайне радея,
под видом естественности
и простоты,

готовила
старой закваски
Вандея
обрезы, обломы,
кнуты и кресты.
Они,
в Маяковском почуя преграду,
взрывали петарды,
пускали шутих:
«Да он моссельпромщик!
Да ну его к ляду!
Он классики строгой
коверкает стих!..»
Так банда юродствующих
орала,
хлыстовски кликушествуя
о былом,
но, как их досада
ни разбирала,
они,
а не он,
обрекались на слом!

А он
доверял коммунизму свято.
Коммуна
к нему обращалась
на «ты»!
Не фраза,
не вызубренная цитата, —
живые
ее наблюдал он черты.
С ней близкою встречею
озабочен,
не в блеске парадов

и мраморных зал,
он памятник строил
курским рабочим,
он голос рабочих Кузнецка
слыхал.
По всем безраздельным
советским просторам,
и в жгучих песках,
и в полярных снегах,
он шагом гиганта,
упрямым и спорым,
хотел
в скороходах пройти сапогах.
Он ездить любил,
и летать,
и плавать;
он вихрился в поезде,
мчался в авто!..
Ни в чью
тихоходную,
мелкую заводь
его заманить
не сумел бы никто.
Огромны мечты,
беспредельна фантазия!
На стройке заводов,
дворцов,
автострад,
по вышкам строительства
яростно лазая,
он стих на подмогу
расплавить был рад,
чтоб строчки сверкали,
по-новому ярки,
чтоб слышал их даже,
кто на ухо туг,

чтоб пламя стихов
электрической сварки
любую деталь
освещало вокруг!
Он рад был
новой рабочей квартире,
леченью крестьян
в Ливадийском дворце,
всему,
что в советском прибавилось мире,
что рвалось вперед
в человеке-творце.
Он знал,
в чем сила народа-героя,
он чувствовал,
кто встает,
величав,
в партийном содружье
советского строя,
в заветах Владимира Ильича.
И эти заветы
в последней поэме
без всякой напыщенности и лжи —
под марш пятилеток:
«Вперед, время!» —
простым языком
он сумел изложить.
И эти заветы
реальностью стали,
когда их
из планов,
наметок и схем
года пятилеток
конвейером гнали
и сделали ныне
наглядными всем!

Открытие Америки

Ко всему
прилагая советскую мерку,
он,
как сказочный,
созданный им же
Иван[1],
по-хозяйски
обмерить и взвесить Америку
перемахивает океан.
Океан ему нравится:
правильный дядя,
от кудрей белопенных
до донных пят;
и ложится строкой
в боевые тетради:
«...Моей революции
старший брат».
Океан —
он в трудах непристанно,
бессменно...
Он плюет на блистанье
зеркальных кают,
и его
никоторые бизнесмены
Атлантическим пактом
не закуют.
С океаном
не раз им
беседовать запросто.
Океанского голоса
рокот и гром,
рев его несмиримости,

---

[1] В поэме «150 000 000». *(Прим. автора.)*

вечности,
храбрости
повторен Маяковского
вечным пером.
Океанский простор
пароходами вспахан;
волны — с дом:
слез с одной —
на соседнюю лезь.
Но
от приторно-постной
шестерки монахинь —
подступает морская болезнь.
Верхогляду
они только шуткой покажутся,
католическо-римской
смиренной икрой,
но в чертах лицемерия,
тупости,
ханжества
проступал уже
американский покрой.
Но еще не видать
воротил с Уолл-стрита:
пароход невелик,
пассажир — середняк.
И еще за туманом
Америка скрыта.
Маяковский с ней встретится
только на днях.

Путь к концу...
И уже, начиная с Гаваны,
потянуло удушливо сладким
гнильем:

то ли дух переспелый
ананасно-бананный,
то ли смрад от господ,
принимающих ванны,
прикрывающих плоть
раздушенным бельем.
Здесь,
какие бы дива
его ни дивили
и какой бы природа
цветной ни была, —
из-за пальм и бананов
увидел он Вилли, у которого белым
разбита скула.
Черной с белою костью
приметил он схватку.
Как бы мог он
за негра
ударить в ответ!
Как лицо это наглое
мог бы он — всмятку!
Но нельзя:
дипломатия,
нейтралитет!

От Гаваны отчалили,
двинулись к Мексике...
«Раб», «лакей», «проститутка» —
гнилые слова,
уж давно потерявшие смысл
в нашей лексике,
здесь
опять предъявляют
свои права...
Трап опущен,
Он сходит с борта парохода.

Все чужое,
такое,
к чему не привык:
непохожи дома,
незнакома природа,
непонятны поступки,
несроден язык.
Мексиканские
широкополые шляпы,
плавность жестов,
точеность испанистых лиц...
Но повсюду Америки
тянутся лапы
пальцы цепких концернов
в природу впились.
Дни ацтеков,
земля их забытых владений,
первобытной общины
уплывших веков...
Поезд мчится
меж кактусовых приведений,
южных звезд
и, как звезды,
больших светляков...
Ночь в вагоне.
Ларедо.
Подъезжаем к границе.
После долгих формальностей
визы даны.
Впереди
впечатлений пред ним
вереница,
но сгибается болью
и гневом страница
за индейцев —
исконных хозяев страны.

Спросят:
«Разве вы ездили с ним?»
Без отсрочки
объясняюсь:
«Да, ездил,
как еду сейчас!
Много лет
мне его дальнолетные строчки
помогают стремиться,
по времени мчась».
Наконец Маяковский
в стошумном Нью-Йорке.
На Бродвее светло —
электрический день.
А в порту,
подбирая окурки
да корки,
безработицы клонится
тощая тень.
За границу езжали
и ранее наши;
приходили в восторг
от технических благ:
дескать, нету продукции
крепче и краше,
кроме той,
над которой Америки флаг.
Маяковский
глазами смотрел
не такими:
«Да, промышленность янки
наладить сумел,
выжимающую
потогонными мастерскими
соки прибыли
из человеческих тел».

Каждый шаг,
каждый миг
здесь на центы рассчитан.
Маяковский
грядущему
смотрит в лицо:
«Здесь последний оплот
безнадежной защиты
воротил капитала
и темных дельцов!»
И в конвейере шумов
без пауз,
распрямившись
во весь свой рост,
озирает он
Билдинг-хауз,
одобряет
Бруклинский мост.
Но куда бы ни поглядел он
и чего бы ни привел
в пример:
«Это все
может лучше быть сделано
и разумней
в СССР».
Он на фордовских
мощных заводах
на рекламнейшем из производств,
где рабочим
в мертвецкой лишь отдых:
измотался —
к реке и — под мост!
Негры, шведы,
бразильцы, евреи...
Кто и как тут
друг друга поймет?

А надсмотрщик:
«Скорее!
Скорее!
Торопитесь!
Дело не ждет!»

Может, встретятся строчки
нежней и любовней
у поэтов,
поющих поля и леса.
Но страшней и короче
чикагские бойни
никогда никому
не суметь описать.
Он приметил
усталые лица,
черно-синие впадины глаз,—
как он мог
с этой жизнью смириться,
угнетенный
и преданный класс?!
Здесь свинцовый оттенок
впитала
кожа хмуро опущенных век.
Анонимного капитала
обезличенный раб —
человек!

Маяковский
сказал свое мненье:
«Нет!
Америка эта —
не та!
Делать деньги —
одно их стремленье,
их единственная мечта.

Не затем каравелла Колумба
подымалась
с волны на волну,
чтоб отсюда
бесстыже и грубо
экспортировали войну.
Пусть же Морганы и Дюпоны,
придавившие горы горбов,
не рассчитывают на законы,
защищающие от рабов».

Ни фотоэлементов услуги,
ни дворцов их эйр-кондишен
не спасут
от кризисной вьюги,
если
весь их строй некудышен.
Перехлынет терпения мера,
швед бразильца и негра
поймет,
и дворца архимиллиардера
не сумеет спасти
пулемет.
В их зимних садах,
среди роз и левкоев,
придут опросить их,
побеспокоив;
придут,
чтоб сказать им
сурово и веско:
«Вам в суд всенародный
явиться —
повестка!
За то,
что бессмысленно жадны
и лживы,

вы мир предавали
во имя наживы».
«Кто ж судьи?» —
нас спросят.
Ответим, кто судьи:
«Те судьи —
простые Америки люди.
Кто избран
народною волей
единой.
Кто был присуждаем
судьею Мединой.
Двенадцать рабочих вождей
неподкупных,
пред кем столбенеет,
потупясь, преступник».
«К чему ж их присудят?»
«Не знаю,
не ведаю.
Я занят сейчас —
с Маяковским беседою.
На это бы
только он сам и ответил.
Ведь чистку такую
когда он наметил!
Великое он
завещал нам событие:
Америки новой
второе открытие!»

1950

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Николаевич
Асеев

МАЯКОВСКИЙ НАЧИНАЕТСЯ

Поэма

Редактор *А. Целищев*
Художник *В. Валериус*
Художественный редактор *Б. Шляпугин*
Технический редактор *В. Никифорова*
Корректор *Н. Саммур*

Сдано в набор 8/II 1973 г. Подписано к печати 21/III 1973 г. Формат бум. $70 \times 90^1/_{32}$. Бумага офсетн. Печ. л. 5. Усл. печ. л. 5,85. Уч.-изд. л. 7,6. Тираж 25 000 экз. Заказ № 902. Цена 91 коп.

Издательство «Современник»
Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Фабрика офсетной печати управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Волгоград, КИМ, 6

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим Вас свои отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу: 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4. Издательство «Современник».

91 коп.

«СОВРЕМЕННИК»